



Владимир Николаевич Войнович
Антисоветский Советский Союз

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=144624

*Антисоветский Советский Союз. Документальная фантасмагория в 4-х частях: Материк; 2002
ISBN 5-85646-060-X*

Аннотация

Причудливые, неправдоподобные, но задокументированные картины недавней нашей реальности в жизни, литературе и политике. 1973–1993.

Содержание

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ	4
Мир бочкообразен	4
Как вы могли так жить?	5
Пиво для русских танкистов	7
СОВЕТСКИЙ АНТИСОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК	10
Молоткастый-серпастый	10
Хлеб наш насущный	13
Елки-палки	16
Кое-что о священных коровах	19
Без ленинской партии	22
СОВЕТСКАЯ АНТИСОВЕТСКАЯ ПРОПАГАНДА	25
Правильной дорогой	25
Производители и потребители	26
Интересный эффект советской пропаганды	27
Советская – антисоветская	29
Наш человек в Стамбуле...	30
Кое-что о беглецах	34
Земляки	37
Медаль за бой, медаль за труд	40
ИЗ ЦИКЛА «РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ»	43
Простая труженица	43
Ченчеватель из Херсона	46
Партийная честь	48
Как искривить линию партии?	49
БЕСПЛАТНО	51
Бесплатное образование	51
Бесплатная медицина	53
Почти бесплатные квартиры	55
ДВС	58
Это что за раздолбай?	61
Открытие	65
ВСЕ ВСЕ ПОНИМАЮТ...	67
Ничего делать не надо	67
Воруй, да знай меру	68
Приличный молодой человек	69
Важны не законы, а правила поведения	70
В маске кролика	71
Конец ознакомительного фрагмента.	72

Владимир Войнович

Антисоветский Советский Союз

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Мир бочкообразен

Однажды я провел лето на подмосковной даче и, кроме того, что что-то писал и безуспешно пытался вырастить такой нехитрый овощ, как редиска, занимался еще праздными наблюдениями над различными формами жизни.

На нашем дачном участке стояла железная бочка, наполовину наполненная давно уже протухшей водой, уровень которой был почти постоянным благодаря смене солнечных и дождливых дней. Летом в этой тухлой воде расплодились какие-то водоплавающие жуки, которые стремительно передвигались по поверхности и глубоко ныряли, охотясь за чем-то мне невидимым. Существование этих жуков казалось мне весьма загадочным. Чем все они питались? Как выживали они сами или их личинки, если зимой бочка промерзала насквозь? Однако как-то они выживали, как-то плодились и размножались и чем-то питались. И я подумал, а что если предположить, что эти жуки обладают способностью мыслить? Какое представление они могут иметь об окружающем мире? Примерно вот какое. Мир – бочкообразен и наполовину заполнен тухлой водой. Тухлая вода гораздо лучше свежей (свежая иногда течет сверху), потому что представляет собой идеальную среду для передвижения, сохраняет тепло и содержит разные питательные вещества. Границы мира легко достижимы, имеют круглое сечение и сотворены из чего-то твердого. Но за пределами этого устойчивого и понятного мира есть, очевидно, и другие миры, в которых не все так устойчиво. Там то светло, то темно. Там, когда светло, плавает что-то круглое и жаркое, а когда темно, выползают какие-то светящиеся жуки. Тот мир гораздо хуже этого, потому что от того мира поступает иногда жара, иногда холод. Там иногда что-то сверкает и гроыхает.

И глядя на этих природных диогенов, я подумал: да это же мы, советские люди!

Мы рождаемся, живем и умираем в бочке. Мы не знаем, что происходит за пределами бочки, и не помним, как сами в ней оказались. Как бы различно ни было наше происхождение, но за годы сидения в бочке у всех развилось общее представление о мире – бочкообразное. У жителей бочки есть свои представления о добре и зле, среди них есть свои святые и свои негодяи. Самые умные подозревают, что, вероятно, где-то существуют другие миры, возможно, много таких же бочек, в которых жизнь устроена как-то иначе. Самые свободолюбивые рвутся из бочки, ползут по ее ржавой стенке, падают и снова ползут. Самые упорные или гибнут, или доползают до края. И вдруг перед ними открывается новый, совершенно невиданный разноцветный мир: трава, цветы, звери, рыбы, птицы, бабочки и стрекозы. Есть вода, есть твердь, есть воздух, и в этих трех средах каждый передвигается, как может: кто летит, кто плывет, кто ползет и – никаких ограничений. Но каждый сам себе добывает пищу и каждый сам должен заботиться, чтобы его не растоптали, не проглотили и не склевали. Боже, да что же это творится?! Скорей назад, в бочку!

Там никаких цветов, никакой травы, там затхлая вода, там скудная пища, но там спокойно. Прибился к стенке и дремлешь, зная, что никто на тебя не наступит, никто тебя не склюет.

Да здравствует бочка!

Как вы могли так жить?

Попад на Запад, я вовсе не собирался выступать здесь в роли пропагандиста. Но куда бы я ни попал, люди, узнав, что я русский, задают вопросы. Они хотят знать, что представляет собой супердержава, которая в состоянии уничтожить весь мир. Какие люди там живут и чем живут? Меня спрашивают, я отвечаю. Но каждый ответ вызывает новый вопрос. Оказывается, наша повседневная жизнь кажется западным людям загадочной и непонятной, как жизнь жуков в бочке. Иногда я никак не могу понять, почему? Иногда раздражаюсь. Иногда объясняю терпеливо, что мы такие же люди, как они. Мы так же рождаемся, живем, стремимся к счастью, любим, ненавидим, радуемся, страдаем, болеем и умираем. Общее это объяснение возражений не вызывает, но, когда доходит до деталей, опять ничего не понятно.

Как-то, во время нашего пребывания в Америке, решили мы с женой навестить знакомую художницу. С мужем-инженером и одиннадцатью детьми она живет на ферме, потому что в городе снять дом или большую квартиру им не по карману, а жить в небольшой квартире они не хотят: американцы – люди избалованные. Я когда-то в молодости снимал в Москве комнату у такой же семьи. Им на тринадцать человек государство отвалило четырехкомнатную квартиру на Кутузовском проспекте. Одну из этих комнат они сдавали. «А вам-то всем в трех комнатах не тесно?» – спросил я у них. «Да что вы, – сказала хозяйка. – Нам и двух много. Мы после коммуналки все в одну норовим забиться».

Но вернемся к американцам. Собрались мы в гости к художнице, взяли такси, по дороге с шофером о том о сем разговариваем. (Таксисты везде разговорчивы, что у нас, что в Америке). Услышав наше произношение, шофер, естественно, поинтересовался, откуда мы. Мы сказали. «О, Раша! – говорит он с почтением. – Ну, и как там, в России, жить?» – "Да как вам сказать? Все хуже и хуже". – «Как у нас, – говорит водитель. – Жизнь, что ни год, дорожает. Десять лет назад такая машина стоила четыре тысячи, а сейчас девять тысяч долларов стоит. А я в месяц и трех тысяч не всегда могу заработать». – «Ну, это, – я говорю, – да, это, конечно. А мясо вы по карточкам получаете или по блату где достаете?» Он мой вопрос даже не очень-то понял, а когда понял, сказал, что мясо, как и все остальные продукты, он в ближайшем супермаркете покупает. «Ну, вот представьте себе, – сказал я, – что ни в вашем супермаркете, ни в следующем, ни в соседнем городе нет ни мяса, ни консервов, ни колбасы, ни сосисок». – «Да, говорит шофер, я слышал, что у русских с мясом не очень. Это неприятно, но, в конце концов, можно есть цыплят». Тут мы с женой стали смеяться, потому что он почти слово в слово повторил высказывание французской королевы Марии-Антуанетты, которая за двести лет до него удивилась: «А чего это народ бунтует? Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные». Таксист наш рассердился и сказал, что, в отличие от королевы, он еще не очень оторвался от жизни, а чикенов этих, то есть цыплят, можно выращивать сколько угодно. Производство это очень простое, чикены сами из яиц вылупляются и сами растут, только корм подсыпай. Я пытался ему рассказать о социалистической системе хозяйства, где ничего не бывает очень простым, но он даже и слушать не хотел. «Да что вы мне говорите, да при чем тут система, да эти птицефермы вообще ничего не стоят, их можно при любой системе сколько хочешь построить». И так он убедительно говорил, что я ему почти совершенно поверил.

Доехали мы до места, встретила нас хозяйка, дом показала. Огромный двухэтажный дом она перестроила по причудливому своему проекту, и получилось много всяких углов, закруглений и ответвлений. И, само собой, невероятное количество комнат. У каждого из одиннадцати детей по комнате. У нее и у мужа по кабинету. А еще спальня, а еще гостиная и столовая, и еще что-то, и одних только ванн комнат не то пять, не то шесть. А для детей всякие спортивные снаряды и какая-то индейская хижина, и живой пони, и еще всякие вещи.

А качели прикреплены к ветке высокого дуба, и когда мы на террасе чай пили, дети на этих качелях со свистом над нашими головами летали.

Сидели мы на этой террасе, чай пили, о жизни разговаривали, я такие простые разговоры предпочитаю всяким интеллектуальным беседам. Я спросил хозяев, не трудно ли им живется. Они сказали, что, в общем-то, нелегко. Такой дом, столько детей, столько забот, а они не миллионеры какие-то, обыкновенные люди, средний, как говорят в Америке, класс. А потом они стали нас спрашивать, и как-то так получилось, рассказал я им вкратце всю свою жизнь, которой вовсе не собирался их удивить, потому что биография у меня по советским понятиям почти заурядная. Мне не было четырех лет, когда моего отца посадили по идиотскому политическому обвинению. И просидел он по советским понятиям тоже совсем немного – пять лет. Ну, а потом война, с которой он вернулся инвалидом. И не то, чтоб совсем уж калекой, а так – одна рука не разгибалась, А я (тоже как миллионы других) ребенком пошел работать в колхоз. Потом ремесленное училище, завод, вечерняя школа, армия – тоже дело обыкновенное. Потом, правда, стал писателем, и дальше судьба развивалась не совсем обычно. Стал я описывать в книгах то, что видел в реальной жизни, и пошли у меня неприятности, чем дальше, тем больше. А потом еще стал за других людей заступаться, да не с кулаками, а на бумаге, письма писал и протесты. За это меня исключили из Союза писателей, не печатали, не давали заработать на кусок хлеба и при этом пытались объявить тунеядцем, отключили телефон, угрожали убийством (и однажды, подсунув отравленные сигареты, показали один из возможных способов), инсценировали нападение хулиганов, прокалывали шины автомобиля, устраивали всякие другие провокации (вплоть до того, что моим престарелым родителям объявили однажды, что я погиб). Но все же не посадили, не убили, а только выгнали за границу, к чему некоторые люди даже очень стремятся. Так что мою биографию можно считать вполне благополучной. Но хозяйка дома мою биографию благополучной не посчитала. Она сказала:

– Как же вы так могли жить? Почему вы не обратились к вашему правительству?

Ее старшие дочери, студентки, стали смеяться, им, как это бывает в их возрасте, стало неудобно, что мама такая глупая.

А я не смеялся. Я считал ее вопрос вполне резонным и объяснил, какое у нас правительство и как оно отвечает на подобные обращения.

– А вы бы подали на них в суд! Дочери и вовсе ее засмеяли.

– Хорошо, я понимаю, может быть, суд такой же. Но ведь можно же было написать в газету, обратиться к общественному мнению! Что вы надо мной смеетесь? Не перебивайте меня. Пусть я старая, глупая, пусть я ничего не понимаю. Я никогда не видала таких правителей, не читала таких газет, не знала, что бывают такие судьбы. Но если к ним ко всем обращаться бессмысленно, то ведь можно же в конце концов просто выйти на улицу и крикнуть: «Люди, посмотрите, ну что же это происходит?»

Нам, воспитанникам советской системы, такие высказывания западных людей иногда кажутся смешными, иногда раздражают: как же можно быть такими наивными?! Но я не понимаю, зачем нужно сердиться. Ну да, ну наивные, ну не могут себе представить нашей жизни, даже когда честно стараются.

Но есть такие, которые и не стараются.

Пиво для русских танкистов

В один из первых вечеров своего пребывания в Германии я попал в компанию, где разговор очень быстро свернул на советскую военную угрозу, на то, что сюда скоро-скоро придут советские танки. Мои новые знакомые всерьез обсуждали, что они будут в этом случае делать. Один торговец лошадьми сказал, что надо уже сегодня, не дожидаясь танков, бежать в Австралию. Другой, владелец пивного завода, спрашивал меня, любят ли русские пиво, он надеялся, что прибытие любящих пиво советских танкистов может способствовать расширению его бизнеса. Молодой философ непонятным образом сочетал страх перед советскими танками с верой в то, что в Советском Союзе торжествуют законность, социальная справедливость и всеобщее равенство. Мои возражения он выслушивал с усмешкой, словно зная заранее, что мое мнение пристрастно. Он, конечно, читал о советских лагерях и сталинском терроре, но призывал меня признать, что за годы советской власти Россия ушла далеко вперед, стала мощной индустриальной державой и ее успехи в космосе говорят сами за себя.

Я втянулся в спор, и философ объяснил мне дальше, что все-таки советская власть освободила трудящихся от капиталистической эксплуатации, от страха за завтрашний день. Я усомнился в его компетенции, когда он сказал мне, что во всяком случае советские люди никогда не знали голода. Я спросил его, слышал ли он что-нибудь о голоде на Украине, стоившем жизни нескольким миллионам людей, или о блокадном Ленинграде. Я рассказал ему, как умирали люди от голода (да я и сам чуть не умер) под Куйбышевым зимой 43-го и в Запорожье три года спустя. Он пропустил сказанное мною мимо ушей и продолжал спорить. Парируя какой-то мой аргумент, он сказал: «Ну да, ведь Россия сама по себе страна маленькая, не больше Баварии». И в ответ на мой ошеломленный взгляд пояснил: «Я имею в виду не весь Советский Союз, а только Россию». Когда я сказал, что считать можно по-разному, но и сама Россия простирается примерно от Смоленска до Владивостока, кто-то уже другой спросил, а где находится Владивосток.

В другой раз меня спросили, хорошо ли русские люди понимают языки других народов СССР, например, хорошо ли я понимаю грузинский язык? Еще меня спрашивали, есть ли в Москве отели и такси и зачем вообще русским деньги, если на них все равно ничего нельзя купить?

Мои русские читатели, прочтя эти строки, охотно закивают головами. Не знают нас люди на Западе, скажут они, не знают и не понимают. Но я хочу прибавить к этому следующее: не только они нас не знают, но мы и сами себя не знаем. Среди русских людей из старой эмиграции я встречал здесь таких, которые абсолютно уверены, что в Политбюро, Генеральном штабе и КГБ сидят одни евреи. Переубедить их невозможно. Недавно я был на выступлении одного старого русского писателя, который в своей лекции рассказывал, что сейчас в России нет ни одного цыгана (все уничтожены). Я встречал людей новой эмиграции, которые только на Западе впервые услышали имя Сахарова. В самом Советском Союзе миллионы людей ничего не знают о коллективизации, сталинских чистках и о том, что происходит сегодня, в начале 80-х годов.

Это незнание объясняется многими причинами. Корреспонденты, которые работали в Москве, отмечают, что советское общество закрыто для иностранцев. Но все дело в том, что оно закрыто не только для иностранцев. Все дело в том, что оно закрыто для самих советских людей, особенно для тех, кто не слушает иностранное радио. Любая, часто простейшая информация является у нас секретной. Секретны отдельные предприятия, целые острова и города, туда не имеют доступа не только иностранцы, но и советские граждане. Секретны эпидемии, стихийные бедствия, крушения поездов и самолетов. Секретны истинные цифры урожая и вообще производственные показатели. Секретно число больных-алкоголи-

ков и наркоманов. Секретны имена выгнанных из страны писателей и, конечно, их книги. Секретны даже имена наиболее отличившихся деятелей революции, гражданской войны и недавних советских руководителей. В энциклопедии, например, есть слово «троцкизм», но нет фамилии «Троцкий».

Советских людей с детства пугают иностранными шпионами и отечественным КГБ, призывают к бдительности, приучают помалкивать. (Даже старая русская пословица говорит: «Слово – серебро, молчание – золото»).

Еще есть перегородки сословные. В Советском Союзе рабочие живут отдельно, артисты – отдельно, спортсмены тоже отдельно. Партийные бюрократы, дипломаты, кагебешники и высшие военные окружены заборами, за которые человеку другого круга вообще невозможно проникнуть. Отдельно от всех живут и писатели. Время от времени они «для изучения жизни» ездят в так называемые «творческие» командировки, иногда индивидуально, а чаще всего бригадами, посещают «передовые» колхозы или заводы, где им показывают парадную или, точнее сказать, фиктивную сторону жизни и обманывают, как иностранцев. Подавляющее большинство писателей (а их в СССР больше 8000) совершенно не знают жизни собственного народа, а тех редких, которые знают и пытаются правдиво ее изобразить, власти преследуют, обвиняют в пособничестве иностранным разведкам и наказывают иногда даже очень жестоко.

В Советском Союзе есть много всяких секретов, но, как я уж сказал, главной и тщательно оберегаемой тайной этого государства является реальная, повседневная жизнь советских людей.

Раскрытие этой тайны и посвящена моя книга. Я беру разные стороны советской жизни, рассматриваю их под разными углами зрения, рассказываю истории из жизни разных людей – крестьян, рабочих, военных, партийных бюрократов от низших до высших, писателей – и из своей собственной жизни. Из всех этих кусочков, которые я называю картинками советской жизни, кажется мне, должна сложиться общая цельная картина.

Понятия «советский народ» или «советские люди», произведенные от формы правления, выглядят несколько противоестественно. Так же противоестественно было бы назвать какой-нибудь народ монархическим или парламентским или все народы стран общего рынка объединить названием обще рыночного народа. Но все же я часто пользуюсь прилагательным «советский», потому что другого общего названия для населяющих СССР людей самых разных национальностей не знаю. А оно необходимо, потому что действующие на протяжении жизни вот уже нескольких поколений общие законы, правила поведения и условия существования, не уничтожая полностью национальных различий, вырабатывают общие для всех традиции и привычки. Никакого отрицательного смысла в слово «советский» в данном случае не вкладываю. Среди советских людей, как и среди всяких других, есть много умных, глупых, талантливых, бездарных, благородных и негодяев. Но попробуйте посадить в одну и ту же тюремную камеру русского, американца, эскимоса и тайландца, продержите их в этой камере достаточное количество лет и вы увидите, что у всех у них, при всех их национальных и личностных различиях, появятся одни и те же наклонности и привычки, они все будут писать мелким почерком, неприязненно относиться к яркому солнечному свету и все будут страдать клаустрофобией. А если в этой же камере вырастут их дети и внуки, то они уже с самого раннего детства научатся обманывать надзирателей, прятать мелкие вещи в складках одежды, а хлеб – под подушкой и, даже выпущенные на волю и в благополучную жизнь, еще очень долго будут сохранять эти привычки и, может быть, передавать их по наследству.

Я уклоняюсь от употребления модного ныне термина «гомо советикус», потому что считаю его крайне неправильным и несправедливым. Это презренное существо, которое обладает двойным или даже тройным сознанием (думает одно, говорит другое и делает тре-

ть), в Советском Союзе, конечно, водится, но и среди западных людей его можно встретить довольно часто. Впрочем, об этом где-нибудь ниже.

СОВЕТСКИЙ АНТИСОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК

Молоткастый-серпастый

Поговорим сначала о советском паспорте. Помните, у Маяковского: «Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я – гражданин Советского Союза!»

Сказано, конечно, здорово. Сильно. Но насчет того, чтобы завидовать, это, пожалуй, слишком.

Помню, путешествовали мы как-то с женой летом на «Запорожце». Не на том горбатом, который, по1 уверению остряков, от собак на деревья залезал, как кошка, а на Запорожце-968", более новой конструкции. Он, конечно, покрасивее был старого, но и покапризнее. Глох в самых неудачных местах. То во время обгона на узкой дороге, то на железнодорожном переезде. Но тем не менее, мы на нем всю Прибалтику исколесили.

Обратно через Минск возвращались. Решили там отдохнуть. Сунулись в одну из центральных гостиниц. И тут стихи Маяковского мне сразу припомнились. «К одним паспортам улыбка у рта, к другим отношение плевое. С почтеньем берут, например, паспорта с двуспальным английским левою». К датчанам и разным прочим шведам относятся тоже неплохо, а вот на польский, точно по Маяковскому, глядят, действительно, как в афишу коза. Ну, а что касается советского паспорта, то к нему, молоткастому-серпастому, отношение и правда самое плевое. Опытный гражданин с этой краснокожей паспортной к окошечку даже и не сунется, он заранее знает, куда его с этим документом пошлют.

Один неопытный как раз передо мной стоял в очереди. Ему говорят: «Мест нет, ожидаем западных немцев». Вылез гражданин несолоно хлебавши из очереди и говорит мне – шепотом, разумеется: «Я, – говорит, – здесь в Минске во время немецкой оккупации был и на этой же гостинице было написано: „Только для немцев“. И сейчас, выходит, только для немцев. Кто ж кого победил?»

Ну, я-то был поопытнее этого гражданина, я знал, что и с советским паспортом тоже можно устроиться, если к нему есть необходимое дополнение. Допустим, если в него вложить соответствующий денежный знак. Тут тоже надо иметь большой такт: правильно оценить класс гостиницы, время года, личные запросы администратора и положить так, чтоб было не слишком много, ко достаточно. Много дашь – себя обидишь, мало дашь – администратор обидится, и скандал подымет, и в попытке всучения взятки обвинит. Так что с денежными знаками надо очень осмотрительно обращаться. Да и вообще давать взятки – это не каждый умеет. А вот если у вас есть какая-нибудь такая маленькая книжечка, да еще красного цвета – это совсем другое. В этом смысле хорошо быть Героем Советского Союза, депутатом или лауреатом. К книжечке с надписью «Комитет государственной безопасности» тоже улыбка у рта, как к английскому леве. Хорошо иметь журналистское удостоверение. Особенно от журнала «Крокодил». Удостоверение Союза писателей в списках особо важных не значится, но действует. Администраторы гостиниц пишущих людей опасаются.

В Минске, стало быть, как дошла моя очередь, я паспорт в окошко сунул, а сверху писательское удостоверение. И во избежание недоразумения сразу представился: «Писатель из Москвы, прибыл в сопровождении жены со специальным заданием». Старший администратор в восторге, средний администратор тоже. Тут же предложили мне лучший номер, а для машины охраняемую стоянку. А вот когда пропуск на машину выписывали, тут у меня небольшая промашка вышла. Спросил администратор и записал сначала номер моей машины, а потом – какой марки. А я по свойственному мне простодушию говорю – «Запо-

рожец». Администратор даже вздрогнул от нанесенного ему оскорбления, вижу, рука у него застыла само слово это «Запорожец» выводить не хочет.

Жена поняла мою оплошность и, прикинув к окошку «Новый, – кричит, – »Запорожец", новый!"

А администратору, конечно, все равно, старый у меня «Запорожец» или новый, все равно консервная банка, хотя и подлиннее. Уж кто-кто, а администратор хорошей гостиницы знает, что настоящие важные люди меньше, чем на «Жигулях», не ездят.

Я потом из этого случая урок извлек и в следующие разы на вопрос, какая у меня машина, отвечал загадочно: «Иномарка». А тут, конечно, номер нам с женой уже был выпи-сан, и никуда не денешься, но администратор смотрел на меня волком, пока я, как бы изви-няясь за свой «Запорожец», не подарил ему пачку венгерских фломастеров.

Тут и другая тема сама собой возникает: об отношении разных представителей вла-сти к маркам автомобилей. Каждый "милиционер знает, что с водителя «Запорожца» можно содрать рубль всегда, даже если он ничего не нарушил. С водителем «Жигулей» надо обра-щаться пожезливей, владелец «Волги» может оказаться довольно важной персоной, его лучше и вовсе не трогать. А уж «Чайкам» и «Зилам» надо честь отдавать независимо от того, кто в них сидит. Впрочем, о машинах как-нибудь в другой раз. Вернемся к нашей теме о паспорте.

Есть у меня один знакомый. Американец. Профессор. По фамилии, представьте себе, Рабинович. Так вот этот самый Рабинович, который профессор, жил, значит, короткое время в Москве, в гостинице «Россия». А его дружки, тоже американцы, поселились в то же самое время в гостинице «Метрополь». Этот профессор, который Рабинович, решил зачем-то их навестить. Явился в гостиницу «Метрополь» и прошел к своим дружкам безо всяких препят-ствий. Ну, посидели они, как водится, выпили джин или виски, само собой, без закуски, поче-сали языками, да и пора расходиться. Откланялся Рабинович, выходит из гостиницы «Мет-рополь», за угол к площади Дзержинского заворачивает. Тут его двое молодцов, не говоря худого слова, хватают, руки за спину крутят и запихивают в серый автомобиль.

– Что? – кричит Рабинович. – Кто вы такие и по какому праву?

– А вот это мы тебе скоро как раз и объясним, – обещают молодцы многозначительно.

Везут, однако, не в КГБ, а в милицию. Волокут в отделение и прямо к начальнику. Докладывают: «Так мол и так, захвачен доставленный гражданин с поличным при посеще-нии в гостинице „Метрополь“ американских туристов».

– Ага, – говорит начальник и вперяет свой взор в Рабиновича. – Как твоя фамилия?

Рабинович говорит: «Рабинович». Само собой, от подобного обращения немного струхнув.

– Ах, Рабинович! – говорит начальник, довольный не столько тем, что еврейская, а тем, что простая фамилия. Такая же простая, как Иванов.

– Да ты что, – говорит, – Рабинович! Да кто тебе разрешил Рабинович? Да я тебя, Раби-нович!

И руками машет чуть ли не в морду. Потом все же гнев свой усмирил и прежде, чем в морду захватить; «Паспорт, – говорит, – предъяви!»

Рабинович сам не свой, руки дрожат – достает из не очень широких штанин, но не красно-, а синекожую паспортину. А на ней никаких тебе молотков, никаких таких сельско-хозяйственных орудий, а такая, знаете ли, золотом тисненная птица, вроде орла.

Начальник взял это в руки, ну точно, по Маяковскому, как бомбу, как ежа, как бритву обоюдоострую. И само собой, как гремучую в двадцать жал, змею двухметроворостую.

– А, так вы, стало быть Рабинович, – говорит начальник и сам начинает синеть под цвет американского паспорта. – Господин Рабинович! – делает он ударение на слове «гос-подин» и краснеет под цвет советского паспорта. – Извините, – говорит, – господин Раби-

нович, ошибка произошла, господин Рабинович, мы, господин, Рабинович, думали, что вы наш Рабинович.

Опомнился Рабинович, взял свой паспорт обратно.

– Нет, – говорит с облегчением. – Слава Богу, я не ваш Рабинович. Я – их Рабинович.

Советский паспорт, советское гражданство... Сколько возвышенных слов сочинено о том, какая честь быть гражданином СССР. Честь, конечно, большая, но туго приходится тем, кто пытается от нее отказаться. В советских тюрьмах и лагерях помимо действительных преступников, которые, кстати, тоже имеют честь быть гражданами СССР, есть и узники совести, а среди них те кто хотел отказаться от этой чести, кто просил лишить его звания гражданина СССР. В этом отказе и состоит их преступление. Мой знакомый, писатель Гелий Снегирев в середине 70-х годов послал свой паспорт тогдашнему главе государства Брежневу и написал, что отказывается от звания советского гражданина. За это тяжело больной Снегирев был арестован, замучен и умер в тюремной больнице.

На Западе есть миллионы бывших советских граждан, которые много лет назад по своей или не своей воле оказались за пределами своего отечества. Не буду сейчас касаться темы, почему так много оказалось их на Западе, почему мало кто захотел вернуться. Многие из оставшихся уже состарились, у них здесь родились дети и внуки, сами они давно пользуются паспортами тех стран, в которых живут, некоторые и по-русски говорить разучились. А советское государство их считает своими гражданами, несмотря на их письма, заявления и протесты. Для чего? Для того, чтобы наказать при случае по всей строгости советских законов как своих собственных граждан. Не делая большого различия между теми, кто действительно когда-то совершал преступления, и теми, кто всего лишь не хотел быть гражданином страны Советов.

И в то же время советские власти лишение гражданства применяют как меру наказания чаще всего к деятелям искусства и литературы. Напомню, что этому наказанию были подвергнуты такие знаменитые на весь мир люди, которыми могла бы гордиться любая страна. К лишению гражданства эти люди, любящие свою родину и свой народ, отнеслись с болью и негодованием. А иногда это повод для горьких шуток. Один из лишенных гражданства, которому завидуют другие, желающие быть лишенными, вырезал из газеты указ Президиума Верховного Совета СССР, заключил его в рамку и повесил на стену. И проходящим к нему гостям говорит:

– Читайте, завидуйте, я – не гражданин Советского Союза.

Хлеб наш насущный

Довольно много пишут сейчас в советской прессе о хлебе. Не надо его есть слишком много, будете толстым. Впрочем, и мясо, говорят, чересчур потреблять не следует, и тоже во избежание полноты. Хотя волки, скажем, мясо едят, а особо толстыми не бывают. Впрочем, волки едят по-дикому, не научно. А у нас все на научную ногу крепко поставлено. И как только нехватка того или иного продукта возникает, тут же находятся доктора соответствующих наук, которые пишут в центральной печати большие научные статьи, что вредно кушать то, чего нет. С чем, понятно, трудно не согласиться.

В одной советской газете я читал об искусном поваре, который готовит пятьсот блюд из картофеля. Это, конечно, если есть картофель (я помню, даже в Москве и с картофелем перебои бывали). Пятьсот блюд это, надо прямо сказать, немало. Я, как ни ломал голову, больше пятнадцати придумать не сумел. А если этот повар такой изобретательный, что придумал пятьсот, то я могу ему предложить пятьсот первое.

Во время войны наша семья жила некоторое время под городом Куйбышевым. Лето 43-го года было еще ничего, а с осени пошло к худшему. В нашей семье было трое рабочих, которые работали на военном заводе и получали пайки по семьсот граммов хлеба, тетка, служащая, получала то ли пятьсот, то ли четыреста граммов (точно не помню), и мы с бабушкой, иждивенцы, по двести пятьдесят. И толстыми не были.

С нами жил еще кролик, которого мы приобрели, чтобы потом съесть, но потом (так у нас всегда было с нашими животными) мы с ним так сжились, так его полюбили, что убить его было просто невозможно. Так вот мы совсем не были толстыми. И даже, наоборот, изо дня в день худели более интенсивно, чем при соблюдении само: строгой современной диеты. И кролик наш тощал вместе с нами. А потом, когда наступила совсем уж полная голодуха, кролик этот от нас сбежал, видно, предпочти быструю смерть от руки решительного человека медленной голодной смерти вместе с такими гуманистами, мы. Правду сказать, пока этот кролик был с нами, мы его порядочно объедали, а когда пропал, спекулировал! его честным именем. Дело в том, что я ходил к расположенным рядом с нами солдатам и на кухне просил картофельные очистки «для кролика». И солдаты все удивлялись: «Что это ваш кролик так много ест?» Они не знали, что у кролика было шесть нахлебников. Если бы мы не стеснялись и попросили картошку, солдаты вряд ли бы нам отказали, потому что у них ее было много, чистили они ее неэкономно. Из этих толстых очисток мы пекли на каком-то чуть ли не машинном масле блины. И они мне тогда казались безумно вкусными. Так что искусному повару я мог бы предложить и это пятьсот первое блюдо на всякий случай.

Но вернемся, однако, к хлебу. Время от времени вся советская печать буквально захлебывается научными статьями, публицистическими выступлениями, фельетонами, стихами, поэмами и даже романами о хлебе.

В самом деле. Слово «хлеб» говорит нашему уху и сердцу гораздо больше, чем название любой другой пищи. Хлеб содержит все необходимые для поддержания жизни компоненты: белки, углеводы и прочее. Если у человека есть хлеб, его уже нельзя считать голодным. Даже в молитве человек прежде всего просит у Бога: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь». Почти все мы, выросшие в условиях советской действительности, пережили в раннем или не раннем возрасте войну, голод и привыкли относиться к хлебу чуть ли не свято. Несмотря на недостаток мяса, никто вас не осудит, если вы выкинете в мусорный ящик протухшую котлету, но кусок хлеба...

Сколько читал я гневных строк в стихах и в прозе о людях, которые забыли войну и блокаду Ленинграда и швыряют хлеб в мусоропровод буханками. Я думаю, стихов об этом гораздо больше, чем самих подобных поступков.

Но если бы речь шла только о буханках! Печать и гневно, и лирически, и романтически призывает народ беречь и использовать каждый кусочек, каждую корку, каждую крошку. Уронил кусок на пол, подуй на него, поплюй, съешь. Засох этот кусок, не по зубам, размочи в воде, съешь. А если даже и позеленел, то ведь тоже надо помнить, что в плесени содержится пенициллин.

Прочел я однажды в «Неделе», что в каком-то районе города Киева приняты серьезные меры. В магазинах не только развешаны рекомендации по приготовлению блюд из черствого хлеба (сами эти рекомендации достойны отдельной поэмы), но и сбор крошек организован.

Да что же это такое, товарищи? Ну, бережное отношение к хлебу, конечно, необходимо, но не подбирать же всякий кусок, на который случайно ногой наступил, не склеивать же каждую крошку, которая под стол залетела. Не воробьи же мы, в конце концов, не кусочники, не крохоборы! И зачем же нас столько лет попрекать войной и ленинградской блокадой? Уже поседели и облысели люди, которые родились после войны и тем более после блокады.

В Советском Союзе ежедневно показывают по телевизору тружеников села, комбайнеров и трактористов покрытыми пылью лицами, которые ведут битву за урожай. А я живу уже четвертый год на Западе и никаких; особых сражений и битв за урожай здесь не замечаю. Никаких комбайнов и трактористов по телевизору не разу не видел, в газетах призывов подбирать крошки не; нахожу, а в магазинах всего полно.

А куда ж наш-то хлеб девается при таких гигантских усилиях?

Вот, говорят, есть еще несознательные граждане, которые кормят хлебом свиней. Об этих свинодержателях и в газетах пишут, и даже в тюрьму их нет-нет да сажают!

Кстати, насчет свиней. Как-то лет десять тому назад провел я месяц в городе Клинцы Смоленской области. Ну и, понятно, посещал иногда местные продуктовые магазины. Нормального мяса там, конечно, не было. И колбасу с зеленым отливом можно было достать только по праздникам. Зато в изобилии были свиные хвосты и копыта. Из них местные жители варили холодец.

Некоторые критиканы, конечно, и здесь находились, ругались, что их кормят только копытами и хвостами. Другие, благоразумные, говорили: зажрались. И опять поминали войну и блокаду. А я, не поддерживая ни тех, ни других, думал: откуда же столько хвостов и копыт? И куда делось то, на чем они произрастали, то есть сами свиньи? Ну, конечно, Клинцы – город советский. И райком, и райисполком в нем имеются. Но не могли же ответственные работники, сколько бы их ни было, слопать всех этих свиней, оставив неответственному населению только хвосты и копыта! Тем более, что район в общем-то сельскохозяйственный, и свиней в нем при всех условиях должно быть больше, чем руководящих товарищей.

А в другом городе, где уже не было ни хвостов, ни копыт и с хлебом перебои, я и вовсе задумался. Хлеба нет, это понятно, его свиньи съедают. А где же все-таки сами свиньи?

И только уже потом, в Москве, меня надоумили. Вез я как-то в троллейбусе кошку к ветеринару. И сам вел себя тихо, и кошка никому не мешала. Так одна агрессивная старушка напала на меня самым зверским образом. «Вот, _ говорит, – почему мяса нет, потому что всякие несознательные люди собак и кошек разводят». И другие пассажиры ее весьма решительно поддержали. Я даже забеспокоился, как бы они моей кошке суд Линча не устроили. Да и мне заодно. Подальше от греха, вылез я из троллейбуса и пошел пешком не к доктору, а домой. С кошкой на руках. Дома поругался с женой из-за несделанной кошке прививки и вообще расстроился. Расстроившись, выпил, конечно, водки. Водка, само собой, дрянь, сучок, сделана из опилок, потому что, если уж свиньям нельзя хлеб скармливать, то не переводить же его на водку. Водку, значит, выпил, стал искать, чем загрызть. Хлеба нет, свиньи сожрали. Свинины нет, кошка съела. Взял огурец, его ни свинья, ни кошка есть не станут, потому что соленый. А кошка под ногами мяучит, есть просит. Налил ей молока, хорошо, старуха

из троллейбуса не видит. Сам выпил еще сучка, снял с полки книгу предреволюционного писателя Власа Дорошевича, лег на диван, стал читать. Пишет Дорошевич, как Шаляпин выступал в Италии, а итальянские газеты писали, что возить в Италию певцов из России такая же дикость, как ввозить в Россию пшеницу. Я подумал, надо же! Неужели ввозить в Россию пшеницу действительно казалось тогда диким? А потом подумал: а ведь и правда дико. Ведь Россия, или точнее Советский Союз, такая огромная страна, в ней есть земли и засушливые, и болотистые, и промерзшие, но есть неплохие, хорошие и даже отличные. Ну, и климат. В сочетании с колхозной системой он, конечно, ужасен. Но сам по себе он местами суровый, а местами вполне неплохой. И пищи на этих землях и при этом климате можно выращивать столько, чтобы хватало и для нас, и для свиней, и для кошек.

Конечно, даже и в изобилии хлеб беречь надо как всякий продукт человеческого труда. Но не настолько, чтобы готовить специальные блюда из засохших корок, подбирать крошки или уроненный на пол кусок. Пусть его съест свинья. Не такое уж это кошунство, если помнить, что мы сами эту свинью съедаем. Когда удастся ее достать.

Елки-палки (о гибели южно корейского самолета)

«Елки-палки! – воскликнул по радио советский летчик, беря на мушку чужой авиалайнер. – Я иду, значит, а у меня З. Г. горит уже».

Потом переводчики в ООН долго ломали голову, при чем тут елки и при чем тут палки, которые находились на десять тысяч метров ниже происходившего.

Я не знаю, что означает «З. Г. – Запас горючего или Заряд готов» (Впоследствии автор узнал, что З. Г. означает «Захват головок». Здесь и дальше – сноски автора). Я знаю только, что словами «елки-палки» обычно выражают волнение, восхищение, досаду и беспокойство. Есть для этого и другие слова, которые часто употребляются в обычной жизни, но произносить их по радио категорически запрещено. Даже расстреливая пассажирский самолет, следует выражаться культурно. В крайнем случае, можно использовать эвфемизмы, то есть заменять слова неприличные приличными, но близкими по смыслу.

Деспотические режимы всегда отличаются своим неприятием грубых слов и выражений, невероятная жестокость всегда сопровождается словесным ханжеством. В устах нацистов уничтожение миллионов евреев называлось «окончательным решением еврейского вопроса». В СССР массовые репрессии назывались «коллективизацией» или «борьбой с оппозицией», а потом «ошибками культа личности», агрессия против других стран называется и вовсе возвышенно «оказанием братской помощи».

Когда в 1971 году погибли три советских космонавта, диктор телевидения вместо того, чтобы сказать: «Дорогие товарищи, у нас стряслась беда», торжественным, как всегда, тоном сообщил, что полет космического корабля успешно завершен, во время полета были достигнуты такие-то и такие-то успехи, своевременно были включены тормозные двигатели, корабль вошел в плотные слои атмосферы, совершил мягкую посадку в точно заданном районе, космонавты были найдены на своих местах... – тут диктор сменил тон с торжественно-триумфального на торжественно-печальный и закончил фразу... – «без признаков жизни». Все было прекрасно, только каких-то признаков не оказалось.

Вот так же и в случае с корейским самолетом. Что бы сказать попросту: самолет был сбит. Так нет, ушел в сторону Японского моря. И только под сильным давлением появилась новая формулировка о принятии мер по пресечению полета. Полет был пресечен, самолет ушел в сторону Японского моря. Море это, между прочим, было внизу вот туда, вниз, самолет и ушел. Крупнейший в мире красавец-лайнер кувыркался беспомощно, как осенний лист. Пассажиры вылетали из сидений, бились о потолок, о спинки кресел и друг о друга. Душераздирающий крик двух с лишним сотен людей не был зарегистрирован наземными службами, но его нетрудно вообразить. Наземные же службы слышали только голос советского летчика, который – елки-палки! – волновался, что ему не хватит керосина дотянуть до аэродрома.

Несколько слов в защиту советского летчика. Говорят, что он не мог ошибиться, не мог спутать пассажирский самолет с разведывательным, «Боинг 747» с «Боингом 707», тем более, что надпись на борту была соответствующая. Все эти доказательства ничего не стоят. Может быть, советский летчик и видел когда-нибудь на картинке «Боинг 747», а может, и нет. И одно дело на картинке, а другое – живьем. А то, что написано «Корейские авиалинии», так написать можно все, что угодно. На советских шпионских грузовиках, которые колесят по всей Европе, тоже написано «Совавтотранс».

Все советские люди, а уж военные тем более, воспитываются в обстановке шпиономании, всем им внушают, что почти каждый иностранец – шпион, и рассказывают ужасы о кознях иностранных разведок. Когда я был солдатом, нам рассказывали историю (и она даже

была напечатана в нашем учебнике) о собаке, которая бегала по военному аэродрому, а потом выяснилось, что вместо одного глаза у нее вставлен фотоаппарат. А в Польше нам внушали, что ни в коем случае ни в какие контакты нельзя вступать с местным населением, что все польские девушки работают на американскую разведку. А еще рассказывали историю, как какой-то недостаточно бдительный офицер помог польской женщине поднять в вагон чемодан и на другой день в западных газетах появилась фотография с объяснением, что здесь изображены советские войска, отправляющие поляков в Сибирь.

Запуганный советский обыватель готов заподозрить шпиона в каждом человеке в темных очках, с фотоаппаратом или тем более с биноклем. В Москве моего соседа, писателя, который диктовал свои рассказы на магнитофон во время прогулок по парку, постоянно задерживали; по подозрению, что он при помощи передатчика выходит на связь со своим шпионским центром.

В 60-е годы советские газеты писали о каком-то старике, который, закаляясь, ходил зимой по снегу босиком и в трусах. Таким образом он намеревался укрепить свое здоровье и продлить жизнь, что ему, однако, не удалось. Как-то в трусах и босой он заблудился в лесу и очутился у некоего военного объекта. Часовой, увидев такого странного человека, сразу подумал: елки-палки, шпион. Правда, он сначала пытался старика задержать и застрелил его только после того, как старик с перепугу кинулся наутек. И газеты, столь усердно рекламировавшие образ жизни старика, об этой его последней прогулке, конечно, не сообщили ни слова.

В 1964 году мне довелось побывать на острове Сахалин. Как раз перед моим прилетом там разбился пассажирский самолет ИЛ-18, о чем в газетах, разумеется, не сообщалось. Самолет упал на сопку, и трупы пассажиров были раскиданы по ее склону. Когда мой приятель пытался сфотографировать эту сопку (а вовсе не трупы), бдительные граждане чуть не разбили фотоаппарат об его голову.

На Сахалине я выступал с литературными лекциями во многих воинских частях, возможно, и в той, где сейчас служит майор, сбивший корейский «Боинг». И вот один летчик, тоже майор (может быть, теперь он уже дослужился до генерала), рассказывал мне, как с двумя своими товарищами был в Москве и как у Центрального телеграфа они заметили иностранца, который их – елки-палки! – фотографировал. Они его, конечно, схватили, аппарат вырвали, пленку засветили, а самого фотографа доставили в милицию.

– Зачем вы это сделали? – спросил я майора.

– А ты не понимаешь? – спросил он меня.

– Нет, не понимаю.

– Но мы же были в форме, а он нас фотографировал.

– Ну и что? Что он этими фотографиями мог сделать?

– А ты не понимаешь?

– Не понимаю.

– А если бы он их в газете напечатал?

– Ну, допустим, – сказал я, – даже бы напечатал. И допустим, даже иностранный читатель узнал, что однажды у Центрального телеграфа стояли три офицера. Что из этого?

– А ты не понимаешь?

Я, конечно, не понимал. Я и сейчас не понимаю. И понять это вообще невозможно без психиатра, но майор, хотя и не мог объяснить мне причину своего беспокойства, остался при своем мнении, если считать мнением то, чего нельзя выразить словами.

Представим себе такого майора, который испугался иностранного туриста с фотоаппаратом. Чего можно от него ожидать, если, поднявшись по приказу ночью на высоту десять километров, он видит перед собой огромную махину с ненашими буквами на борту? Елки-палки! Да откуда ему было знать, что это просто пассажирский самолет, который заблу-

дился? И кроме того, он человек военный, его дело выполнять приказы, а не рассуждать. И как поется в песне: «А если что не так, не наше дело, как говорится, родина велела».

В гибели авиалайнера виновны многие. И сам корейский летчик, совершивший роковую ошибку, и те наземные службы, американские и японские, которые не уследили за сбившимся с пути самолетом, ну и, конечно, тот советский генерал, который, тоже воспитанный в духе шпиономании, отдал приказ открыть огонь. В ряду виновных советского летчика я бы поставил на самое последнее место. Он всего лишь выполнял приказ.

И все-таки...

В 45-м году американский майор Клод Изерли, выполняя приказ своего командования, был среди тех, кто сбросил атомную бомбу на Хиросиму. Эта бомба была одной из двух, решивших исход войны. Если бы не эти бомбы, сопротивление Японии могло затянуться и количество жертв было бы еще больше. Так что стратегически и арифметически все было правильно. А то, что в результате взрыва погибли тысячи ни в чем неповинных людей – что тут поделывать? Война есть война, а бомба правых и виноватых не различает (конечно, было бы справедливее, если бы она уничтожила выборочно только японских генералов).

Все правильно. Но совесть Изерли не посчиталась ни с логикой, ни со стратегией, ни с арифметикой. Когда летчик узнал, что именно произошло внизу после того, как была нажата кнопка, он сошел с ума (О сумасшествии Изерли я написал, заверившись советским источником. Но после публикаций этой статьи по-английски, я получил письмо от одного американского читателя, который сообщил мне, что Клод Изерли с ума не сходил (а жаль), но, благополучно закончив военную службу, занялся торговлей подержанными автомобилями).

А что же советский майор? Мучает ли его совесть, когда он, может быть, узнает, что у берегов Японии выловлен обезглавленный труп ребенка? И труп женщины тоже без головы. И еще какой-то труп без головы, без рук, без ног. И просто кусок человеческого мяса, вымоченного в морской воде.

Ведь на земле майор, я думаю, обыкновенный мирный человек. Читает газеты, ходит с женой в офицерский клуб, помогает детям по арифметике или берет их с собой на рыбалку. Ведь не бандит какой-то. Ведь не стреляет ночью во встреченного на улице заблудшего прохожего и не пыряет его ножом.

Но как бы мне ни хотелось его оправдать, я бы все же спросил: «Елки-палки, майор! Неужели под охраняемым тобою небом ты спишь спокойно и тебе никогда не снится обезглавленный тобою ребенок?»

Кое-что о священных коровах

Советское гражданство, рубежи нашей Родины – довольно много подобных слов и понятий считаются у нас священными, Давайте поговорим немного о них. Я в этом деле вроде даже как специалист. Меня в одной американской газете назвали как-то «The kicker of sacred-cows» – если прямо перевести на русский, то придется употребить несколько необычное слово «лягатель» или что ли «пинатель» священных коров. И я, честно говоря, таким званием не только не был смущен, а напротив, очень даже доволен. Потому что в нашем языке (я имею в виду не просто русский, но советский официальный язык) эпитет «священный» прилагается слишком часто даже к вещам, которые священными называть вовсе не обязательно.

Взять хотя бы те же «священные границы». Границы эти священны и нерушимы, нельзя их пересекать ни с той стороны, ни с этой. Вот и пример с корейским самолетом был совершенно наглядный. И так этим священным у нас всех головы задурены, что мы даже не знаем сами, что мелем. Читал я недавно репортаж о том, как два воздушных пирата собирались священные границы нарушить. В то время как один держал на коленях бомбу, другой приказал пилоту ТУ-134 лететь в Швецию. А тот, разумеется, сел в Ленинграде. И пиратов этих, не успели опомниться, тут же перестреляли. И что сказали пассажиры после такого вот случая? Кто-то из них сказал {и, я верю, вполне искренне): «Спасибо экипажу, который спас нам жизнь». Да разве он спас? Он подвергал их жизни опасности и вовсе не из беспокойства за их благополучие, но исключительно опасаясь, что эти самые пираты действительно сбегут на Запад, а у самого экипажа будут серьезные неприятности. Я сейчас оставлю в стороне важную тему, почему вообще люди в Швецию или еще куда-то бегут. Почему они не могут, скажем, просто купить билет и полететь туда, не угрожая ни себе, ни другим, или пересечь эти священные рубежи пешком, с обыкновенным рюкзаком за плечами. Здесь, например, на Западе, переходить священные рубежи совсем просто, надо только показать паспорт. А однажды, пересекая границу между Францией и Швейцарией во время очень важного футбольного матча, я вообще у пограничной будки никого не обнаружил. Я даже остановился и вышел из машины, надеясь найти какое-нибудь вооруженное лицо, чтобы оно проверило у меня документы и удостоверилось, что я не так просто, а самым законным образом пересекаю эти священные рубежи. Но не найдя никого, махнул рукой, сел в машину и двинулся дальше.

Так пересекают рубежи в западных странах. Впрочем, внутри Советского Союза границы между республиками пересекаются тоже без всяких препятствий. Но не всегда. Как-то на своих «Жигулях» пытался я проникнуть на территорию РСФСР из Донецкой области, которая находится, как известно, на Украине. Меня остановили, заставили открыть багажник и тщательно его осмотрели. И что, вы думаете, они искали? Нет, не динамит, не наркотики и даже в данном случае не запрещенную литературу. Искали колбасу, которую жители Ростова возили из лучше снабжаемого Донецка. Но я хотел сказать не об этом. Я хотел сказать, что не ко всяким понятиям следует применять прилагательное «священный» и вообще чем реже употреблять это слово, тем лучше.

В разных странах есть символы и реликвии, которые принадлежат к числу почитаемых. Например, в Англии с большим почтением относятся к отечественной монархии и к монархам. Правда, сами англичане чаще всего говорят о своих чувствах с юмором. Они не утверждают, что английская монархия является самым передовым в мире политическим строем. Они говорят обычно: «Да, мы не против монархии, мы к ней привыкли, она к нам привыкла, она нам в общем-то не мешает».

Году в 70-м один английский студент рассказывал мне, как к ним в Оксфордский университет приезжал советский литературовед профессор Машинский. Выступая перед оксфордской аудиторией, профессор рассказывал студентам, как живут советские писатели, как работают, какими немислимыми правами по сравнению с западными коллегами пользуются. Советская литература, утверждал он, не только самая великая, но и самая свободная в мире. И тогда студент, который рассказывал мне эту историю, поднял руку и задал вопрос:

– Если ваша литература самая свободная, то почему у вас писатели Синьявский и Даниэль сидят на тюрьма?

Профессор снисходительно улыбнулся, давая понять, что студент еще молод и зелен, и ему следует кое-что объяснить.

– Дело в том, – сказал профессор, – что Синьявский и Даниэль в своих произведениях оскорбляли Ленина. А Ленин у нас – имя священное. В каждой стране есть, и это естественно, свои священные символы и понятия, которые нельзя оскорблять. В одних странах это флаг, в других герб, а у вас, например, нельзя оскорблять королеву.

– У нас нельзя оскорблять королеву? – переспросил студент. – Я хочу привести этот старый корова сюда, поставить к стенка и немедленно расстрелять. – Студент выдержал паузу и сказал: – Ну что, вы видите тут польция? Кто меня хватает за рука?

Пересказывая мне эту историю, студент сказал, что, конечно, он вовсе не считает королеву старой коровой. Она обаятельная женщина, и он любит ее, как почти все англичане. Но он самым наглядным образом продемонстрировал этому профессору не только реальность свободы слова, существующей в демократической стране, но и терпимость властей и аудитории.

У нас, например, о наших вождях можно сказать все, что угодно, если представить себе невозможное: что в аудитории нет ни одного стукача. Но в сталинские времена сказать такое, например, о Сталине в любой аудитории... Да сама аудитория человека разорвала бы, не дожидаясь товарищей из органов госбезопасности. Потому что имя Сталина, как и Ленина, было священно. Священные слова. Священные границы, могилы, имена, понятия, камни, знамена.

Советские власти, как только могут, эксплуатируют само слово «священный», взятое из церковного обихода. Пытаются отменить религиозные обряды и ритуалы, подменяя крест серпом и молотом.

Молодожены в подвенечных одеждах после дворца бракосочетания, где под портретом Ленина им сказали напутственные слова, едут на могилу Неизвестного солдата. Какая дикая смесь религиозного и атеистического и сколько во всем этом ханжества и даже кощунства! Эти молодожены отдают дань не солдату, а варварству и милитаристской пропаганде. Насаждая этот новый ритуал, власти бессовестно эксплуатируют душевную потребность людей хранить память о погибших и умерших. Каждому из нас дороги наши близкие, которых мы потеряли на войне или в лагерях. У каждого есть родственники, не только погибшие на Курской дуге или на Эльбе, но и похороненные где-нибудь у берегов Колымы или Печоры. И если уж отдавать дань, то хорошо бы не только Неизвестному солдату, но и Неизвестному заключенному. Он тоже не заслужил нашего забвения.

Повторяю, нам всем дороги наши близкие, которых уже нет между нами. И не только погибшие с автоматом или с киркой в руках, но и просто умершие от болезни, от старости, от несчастного случая. Но приходиться на могилы не обязательно в день свадьбы. Есть для этого годовщины смерти, в некоторых странах дни поминовения или, как принято в России, на Пасху. Ведь вступая в брак, люди не воинскую присягу принимают, а собираются жить и растить детей.

С возведением вещей в ранг священных мы вообще Уже потеряли всякую меру. Например, спасение чего-нибудь. Благородно, когда человек человека спасает и ради Жизни дру-

гого рискует своей собственной жизнью. Однако советская пропаганда поощряет людей не только рисковать, но и жертвовать собой, проявляя героизм при спасении, например, социалистического имущества. В данном случае прилагательное другое, но употребляется в торжественном смысле и легко заменяется на слово «священный».

Сколько написано всякой всячины о людях, жертвовавших собой ради спасения социалистического имущества, которым может быть названо все, что угодно: сельскохозяйственный инвентарь, портянки или запасы стирального мыла.

Или еще один священный ритуал. В разных воинских частях Советского Союза на вечерней поверке выкликается какое-то имя и правофланговый заученно отвечает: «Рядовой или сержант такой-то погиб при выполнении боевого задания». Или даже: «Погиб при спасении знамени». И сами эти ритуалы поощряют гибнуть не только ради спасения родины, свободы или людей. Но и ради вещей, которые при любом самом сентиментальном к ним отношении не заслуживают того, чтобы за них гибли.

Взять хотя бы то же знамя. Конечно, это реликвия. И может быть, даже очень ценная. Но когда речь идет о выборе, пропасть ли знамени или одной человеческой жизни, надо все же помнить, что, овеянное славой минувших сражений, оно все-таки только кусок материн, надетой на палку. И жертвовать ради него своей жизнью просто глупо. Потому что, как бы ни были священны те или иные реликвии, на свете нет ничего священнее человеческой жизни.

Без ленинской партии

Если бы кто-нибудь когда-нибудь мне сказал, что я буду жить в немецкой деревне и соседям говорить не «здравствуйте», «спасибо» и «до свидания», а «гутен таг», «данке шон» и «ауф видерзейн», я бы в это ни за что в жизни не поверил.

А вот так случилось. Деревня наша под Мюнхеном называется Штокдорф. Шток по-немецки – палка. Дорф – деревня. Мы эту деревню называем Палкино, а наши друзья в Москве прозвали ее Перепалкино, по созвучию с писательским поселком под Москвой, который называется Переделкино.

В этом нашем Палкине-Перепалкине живут, в основном, конечно, немцы. Но не только. Прямо напротив нас живет Настя, бывшая колхозница из-под Харькова. Во время войны ее, тогда молодую девушку, немцы угнали в Германию. После войны домой не вернулась. Здесь ей было не сладко, но и на родину ехать не решилась. Опять в колхоз, где она гнула спину от зари до зари и с голоду пухла. Где ее отца неизвестно за что и неизвестно куда насовсем увели. Да и ее судьба после возвращения была бы вилами по воде писана. Сталин не любил людей, которые в чужестранстве побывали, хотя бы и не по своей воле. Не любил не только тех, кто против советской армии сражался или еще чего делал враждебного. Сталин не любил всех людей, которые видели западную жизнь и могли сравнивать ее с советской.

Побоялась Настя вернуться на родину. Осталась здесь вышла замуж, родила дочку. Онемечилась. С мужем общается по-немецки. С дочерью тоже. О внуках и говорить нечего. А теперь появились у нее соседи-соотечественники. Можно прийти, отвести душу, поговорить на родном языке. Язык у нее и раньше был такой, на котором говорят в ее родных местах так называемые простые люди. Не русский, не украинский, а какая-то смесь. А теперь еще и немецкие слова наметались. Потому что в русском языке есть много слов, которых в ее времена она слышать не могла. Например, телевизор. Здесь она этот прибор называет по-немецки «фернзеер». Иногда звонит по телефону или прибегает через дорогу, говорит: «Отворите фернзеер», там, значит, что-то показывают интересное, по ее мнению. И вот как-то на днях тоже звонит: «Отворите фернзеер, там Москву показывают!»

Ну, отворили фернзеер, смотрим. Москва. Красная площадь. Портреты вождей, ГУМ. Как раз о ГУМе и передача.

Стоит очередь. Огромная. Вокруг магазина. Растекается по отделам. Я не знаю, что там в этот день давали. То ли югославские сапоги выкинули, то ли школьную форму, то ли чего еще. Впрочем, чего бы ни давали, а очередь соберется, потому что все нужно. И вот давится народ, задние напирают на передних, и одни лица переполнены решимостью выстоять и победить, а на других выражение полной обреченности, эти люди заранее знают, что весь день простоишь, бока тебе намнут, а к прилавку подходя, услышишь голос продавщицы: «Касса, форму не выбивайте! Кончилась форма!» и покупателям: «Граждане, не стойте зря, не толпитесь!»

А какая-нибудь гражданка, все еще надеясь на чудо, будет взывать к продавщице: «Да как же, да я специально из Воронежа приехала!» А ей ответят: «Все специально приехали!» – «Но мне же только одну пару!» И это не аргумент. Всем только одну. А всех тысячи, и на каждого не напасешься.

Я смотрел, и грустно мне было. Это была моя прошлая жизнь. Сорок восемь лет я прожил в Советском Союзе и сам прошел в очередях путь, который, если сложить вместе, растянулся бы от Москвы до Владивостока, я помню очереди за хлебом, на станциях за кипятком, в учреждениях за какой-нибудь пустяковой бумажкой, во время войны – длинющие очереди у женских уборных. Теперь, по мере повышения благосостояния, стоят очереди за

пивом, за стиральным порошком, за перчатками, за зубной пастой, за туалетной бумагой и даже за кубиком Рубика.

Очереди бывают разные. Бывают на несколько минут, на ночь, на несколько дней. В очередях на машину или квартиру люди стоят годами.

Но все же я не мог себе представить, как ужасно выглядит очередь, если взглянуть на нее со стороны.

Показали по телевизору все эти очереди, во всех отделах и на разных этажах, а потом показали пожилую и толстую работницу ГУМа. Я не понял, кем она там работает, парторгом или заведующей секцией, но политически она оказалась на высоте. Она объяснила немецким телезрителям, что изобилие, которое они видят воочию, достигнуто советским народом под руководством и благодаря неустанной заботе нашей ленинской партии.

Я смотрел на это, слушал и думал: «До чего же задурены советские люди! Она сама даже не понимает, что плетет. Да все эти товары, которые выставлены в ГУМе, у любого западного человека не могут вызвать ничего, кроме насмешки».

Я вспоминаю анекдот про американца, который подойдя к очереди, спросил, что здесь продают. Ему сказали: «Ботинки выбросили!» Он посмотрел и сказал: «Да, у нас] тоже такие выбрасывают».

Хорошо, эта тетя из ГУМа, она, допустим, невыездная, за границей отродясь не бывала и даже представить себе не может разницы между убогим ГУМом и любым самым простым западным магазином. Но, например, секретарь Московского отделения Союза писателей товарищ Феликс Кузнецов – точно выездной. И разницу эту знает. Он за границей бывал и в свободное от борьбы за мир время немало стоял в этих западных магазинах с раскрытым ртом. И уж ему-то должно быть стыдно выступать в роли упомянутой мною тетеньки. А нет, не стыдно. И в статье «Не опоздать», напечатанной в «Литературной газете», разоблачая зловредных империалистов, он помимо всего прочего, пишет, что в то время, как на Западе растет психоз и паника перед ядерной катастрофой, западные люди, приезжая в Советский Союз, удивляются «спокойствию, собранности, деловитости атмосферы в нашей стране». И чуть ниже: «Мы спокойно работает, решаем вопросы Продовольственной программы, совершенствуем социализм».

Если уж иностранцев и удивляет Продовольственная программа, то только тем, что она вообще существует. На шестьдесят восьмом году советской власти и через сорок лет после окончания войны.

Есть чему удивляться.

Здесь Продовольственную программу никто не решает. Здесь ее просто нет. Здесь человек просто идет в магазин и покупает, что ему нужно.

Недавно я слышал рассказ об одной очень ортодоксальной гражданке, профессоре марксизма-ленинизма. Попала она первый раз на Запад, точнее, в Мюнхен. Вошла в магазин вместе с сопровождавшими ее немцами. Как увидела, что стоит на полках, сразу смекнула, что все это выставлено с провокационной целью. Она знала, ее научили, что здесь ухо надо держать востро. Увидела двенадцать сортов апельсинов. «У нас, – говорит, – это тоже есть». Увидела семьдесят сортов колбасы. «У нас, – говорит, – это тоже есть». Увидела сто пятьдесят сортов сыра – «У нас это тоже есть». Подошла еще к одной полке, там туалетная бумага: белая, розовая, в цветочек, в горошек и в клеточку. Ординарная, двойная, гладкая и с пупырышками. «У нас, – говорит, – это тоже...» и потеряла сознание. Пришла в себя, ее на носилках в закрытую машину втаскивают. Испугалась, подумала, что воронок. «Что это?» – говорит. Ей отвечают: «скорая помощь». «А-а, – говорит она успокоено, – у нас это тоже есть!»

А другой, тоже пожилой человек, прибыл дочку свою, которая замуж за немца вышла. И тоже пошел вместе с ней в магазин. Она стала хвастаться, смотри, мол, чего здесь только

нету. Он смотрел, хмурился. «Нет, – говорит, – ты мне настоящий магазин покажи». – «А это какой же?» – «А я, – говорит, – не знаю, какой, может, специальный, для иностранцев. А ты мне покажи настоящий, для простых людей». Дочка пытается его убедить, что это для всех людей, и для простых, и для непростых. А он заладил свое: «Быть этого не может, покажи мне настоящий». Стала она его водить из магазина в магазин, он ходит, смотрит, глазам своим не верит и опять требует, чтобы она ему настоящий магазин показала. «Какой настоящий? – рассердилась она. – Гастроном вроде вашего на Соколе?» «Ну, хотя бы такой», – говорит, «Но здесь нет таких? Здесь даже таких бедных магазинов, как Елисеевский, нет! Может, ты хочешь, чтоб я тебе сельпо показала?» «Покажи», – говорит отец. Хорошо. Посадила она его в свою машину, завезла километров за пятьдесят в глушь, в деревню. Зашли опять в магазин. Вышел отец, огляделся, видит, вокруг дома редко одно, – , чаще двухэтажные, добротные, каменные, крытые черепицей, с огромными окнами, с балконами и на всех балконах – цветы. И хоть бы одна развалюха. «И это обыкновенная немецкая деревня?» – спросил отец. «Да, – сказала дочь, – самая заурядная». «Нет, – говорит отец, – ты мне настоящую деревню покажи».

Я хочу быть понятым правильно. Меня само по себе богатство не умиляет и не соблазняет. Я лично предпочел бы не то чтобы голодную, но, скажем так, скромную жизнь в свободном обществе – богатой жизни в несвободном. Но как показывает практика (да и теория, впрочем, тоже), свободные люди производят материальных ценностей больше, чем несвободные. Это, между прочим, заметил даже Карл Маркс.

Именно поэтому жители не только Германии, но и всех западных стран достигли такого материального изобилия, которого советские люди даже представить себе не могут. И добились этого, безо всякой заботы со стороны ленинской партии.

СОВЕТСКАЯ АНТИСОВЕТСКАЯ ПРОПАГАНДА

Правильной дорогой

В начале 70-х мы с женой, возвращаясь с Черного моря в Москву, где-то, в районе, кажется, Армавира попали на большую и по советским стандартам довольно хорошую дорогу, соединяющую Пятигорск с Ростовом-на-Дону. У въезда на дорогу никаких указателей не было, мы свернули в сторону, которая казалась нам правильной, и покатили, рассчитывая, что доберемся до ближайшего указателя и в лучшем случае поедem дальше, а в худшем развернемся.

Дорога была совершенно пустынна. Очень редко попадались встречные автомобили, а в нашу сторону, казалось не ехал никто кроме нас. Впрочем, мы не беспокоились. Главное – доехать до ближайшего указателя. А вот вроде и он...

Большой дорожный щит мы заметили издалека. Но когда приблизились, увидели, что это огромный портрет Ленина, очень доброго на вид старичка с красным скромным бантиком на отвороте пиджака и в кепке. Приложив к кепке полусогнутую ладонь, Владимир Ильич ласково щурился и одобрял выбранное нами направление: "**ПРАВИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ ИДЕТЕ, ТОВАРИЩИ!**" – крупными буквами было написано под портретом.

Если товарищ Ленин и произнес когда-то эти слова, то он, вероятно, имел в виду общий путь народа к коммунизму, но написанные на дорожном щите слова эти приобретали более конкретное содержание.

Нас, конечно, сообщение вождя мирового пролетариата в данном случае удовлетворить не могло, хотелось бы получить более детальные сведения, но что поделаешь, мы поехали дальше. И опять пустынная дорога без населенных пунктов, без бензоколонок, без указателей, даже без обычных (тоже бессмысленных) фанерных щитов, на которых местные колхозы сообщают, сколько молока или яиц в текущей пятилетке они собираются сдать государству. И только портреты Ленина с той же усмешкой и с теми же словами "**ПРАВИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ ИДЕТЕ, ТОВАРИЩИ!**" с раздражающей периодичностью появлялись у края дороги.

Проехав около сотни километров, мы, наконец, догнали какой-то трактор и выяснили у водителя, что дорогой мы идем, конечно, правильной, но в совершенно противоположную сторону. Развернувшись, мы поехали обратно, и опять один за другим возникали, приближались и исчезли портреты Ленина с теми же словами «правильной дорогой...»

Думая о советской пропаганде, я вспоминаю эту дорогу и эти бесчисленные портреты с ничего не значащими словами.

Производители и потребители

Сравнивать советскую пропаганду с американской или вообще с западной трудно, а может быть, и невозможно, потому что советская пропаганда является основным продуктом советской системы, производство которого значительно превосходит производство продукции сельского хозяйства, легкой, тяжелой и даже военной промышленности.

Понятно, что производством пропаганды заняты прежде всего пропагандистские органы коммунистической партии, комсомола и Комитета государственной безопасности. Этим же заняты все газеты, журналы, телевидение, радио, кино, театры, союзы писателей, художников, композиторов и даже официальная церковь. Но кроме всех этих упомянутых организаций, изготовлением пропаганды заняты все без исключения заводы, колхозы, больницы, строительные управления и воинские части. Каждый директор, управляющий, заведующий, председатель или воинский начальник должен заботиться, чтобы на подчиненной ему территории было необходимое количество портретов Ленина и нынешних членов политбюро ЦК КПСС (а если кто-нибудь из них смещен с поста, его портрет должен исчезнуть немедленно и навсегда); транспаранты с ничего не значащими лозунгами вроде «Народ и партия едины», «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно» и. ли «Победа коммунизма неизбежна»; стенная газета, заполненная чем угодно (важно, чтобы она была); доска почета с портретами так называемых передовиков производства (для того, чтобы попасть в «передовики», надо не только хорошо работать, но и самому быть активным изготовителем или, по крайней мере, потребителем пропаганды) и еще всякие плакаты с призывами, цитатами, цифрами и процентами, обещающими перевыполнение производственных планов. Цифры эти, не имеющие никакого отношения к делу, висят везде. Даже в кабинете зубного врача я видел обязательство работать на сэкономленных материалах.

Каждый руководитель, большой или маленький, знает, что в случае какой-нибудь проверки ему еще могут простить невыполнение планов, пьянство, воровство, прогулы и взыточничество со стороны его подчиненных или его самого, но непорядок со всеми этими портретами, плакатами, лозунгами, цитатами и цифрами прощен не будет. Потребителем пропаганды является каждый советский человек, начиная с ясельного или школьного возраста, когда он впервые становится членом коллектива (уже в яслях висят все эти лозунги, плакаты, портреты и стенгазета). В зависимости от возраста, социального положения, партийности и образовательного уровня каждый человек получает пропаганду в том виде, какой, по мнению властей, доступен его пониманию.

Студенты, независимо от их будущей специальности, изучают марксизм-ленинизм и историю КПСС, каждый раз изменяемую в соответствии с изменениями пропаганды. Рабочие, колхозники и солдаты должны посещать политические занятия и кружки, на которых они когда-то изучали биографию товарища Сталина, а потом объявленные литературными шедеврами «произведения товарища Брежнева». Формально эти занятия добровольны и бесплатны, но каждому советскому человеку известно, что посещение этих занятий или уклонение от них самым непосредственным образом отразится на уровне его жизни, будет учтено при служебных перемещениях, распределении производственных премий, квартир, путевок в дома отдыха или импортных кур к празднику.

Как говорил один начальник своему подчиненному; «Ты работай бескорыстно, а мы тебе за это заплатим».

Интересный эффект советской пропаганды

Давно прошли те счастливые для советской пропаганды времена, когда массы народа откликались на противоречивые призывы партии, с энтузиазмом строили заводы в Сибири или «защищали» свободу в Испании, на демонстрациях восторженно размахивали флагами и портретами вождей, сходили с ума от счастья, если удавалось увидеть хотя бы издалека Ленина, Троцкого или Сталина, прикалывали к груди красные банты и давали своим детям революционные имена вроде Владилен (Владимир Ленин), Мэлор (Маркс, Энгельс, Ленин, Октябрьская революция), Ким (Коммунистический Интернационал Молодежи) или хотя бы просто Тракторина либо Индустрия.

В те благословенные времена советская молодежь не воротила нос от советских же символов. Юноши украшали свои футболки и косоворотки значками МОПР (Международная Организация Помощи борцам Революции) или «Ворошиловский стрелок», девушки повязывали красные косынки. Я помню, в моде были «буденовки», сталинские френчи и даже сталинские усы.

Давно это было да былью поросло.

Теперь люди тоже ходят на демонстрации и размахивают флагами и лозунгами, но только за лишней выходной отгул или дополнительную плату.

Теперь совсем иная мода. Теперь советский молодой и не очень молодой человек с душевным волнением произносят не революционные лозунги, а названия разных западных фирм и вещей. Слова «Честерфильд», «Панасоник» или «Мерседес» говорят его сердцу гораздо больше, чем «Свобода, равенство и братство». Иностранная одежда предпочитается не только благодаря ее истинным достоинствам. Стоимость джинсов резко возрастает в цене, если на заднем кармане есть заметная этикетка с надписью «Мустанг» или «Ли» и резко падает, если такой этикетки нет. В большой моде рубашки и майки с надписями «Кока-кола» или «Ай лав Нью-Йорк». Говорят, в Москве появились даже майки с надписью по-английски «Я выбираю Рейгана». Если нет денег или возможности достать настоящую заграничную майку, можно купить подделку (те же слова на майке советского производства). Но попробуйте продать майку, пусть даже самого высокого качества, но со словами, написанными кириллицей: «Я люблю Москву» или «Ленин». Вас не только не похвалят, но, вполне даже вероятно, отправят на психиатрическую экспертизу, потому что в этой надписи усмотрят злую насмешку.

Советские люди тянутся ко всему западному. Виски и кока-кола вызывают большее вожделение, чем водка и квас. На какого-нибудь безголосого американского певца или малоинтересную американскую выставку попасть все равно невозможно. Конечно, это беспокоит советских пропагандистов.

В свое время один из самых правоверных советских писателей, твердолобый сталинист Всеволод Кочетов написал целый роман о том, как в Советский Союз приезжает по заданию ЦРУ американский джаз с совершенно возмутительной негритянской певицей, которая на сцене так вертит своим толстым задом (тоже, конечно, по заданию ЦРУ), что неустойчивая часть советской молодежи проникается этим растлевающим западным духом, перестает изучать марксизм-ленинизм и отвлекается от выполнения важных народно-хозяйственных задач. (И Кочетов был совершенно прав, молодежь отвлеклась и вместо «Широка страна моя родная» запела почему-то идейно порочную и даже кощунственную песню:

Распутин, Распутин,
Грейтест рашен лав мэшин...)

А недавно в Лондоне мне удалось посмотреть программу советского телевидения. Выступал некий доктор философских наук. Он рассказывал о том, к каким аморальным и коварным методам прибегают международные империалисты для того, чтобы подорвать монолитное единство советского народа и в конце концов сокрушить несокрушимый советский строй. Во время гражданской войны они пытались сокрушить советскую власть путем прямой интервенции. Не вышло. Пытались задушить нас всякими экономическими санкциями. Не вышло. Надеялись уничтожить нас с помощью гитлеровских полчищ. Не вышло. Попробовали разложить нас, используя для этой цели диссидентов. Не вышло. Теперь они тратят миллионы долларов для засылки нам всяких джинсов и маек, украшенных буржуазной символикой. Они не гнушаются ничем и даже свой собственный американский флаг наклеивают на то место на джинсах, которое прикрывает ягодицы. Этот флаг на ягодицах так возмутил доктора философии, что он посвятил ему главную часть своей речи, изливая все свое презрение и к американскому флагу, и к тому месту, на которое наклеивают его коварные империалисты (Между прочим, эти борцы с западной «вещевой пропагандой» сами являются ее первыми поставщиками и распространителями. «Выездные» советские журналисты, дипломаты, партийные деятели всех рангов не только сами предпочитают советской одежде заграничную, не только обеспечивают ею своих детей и ближайших родственников, но, пользуясь своими исключительными возможностями, в огромных количествах закупают тряпки на зарубежных распродажах и, вагонами, кораблями, самолетами доставляя их в Советский Союз, весьма выгодно сбывают на черном рынке).

Но все подобные выступления, как всегда, вызывают противоположную реакцию. За годы своего существования советская пропаганда полностью исчерпала кредит доверия у своих потребителей. Постоянной лживостью и беспринципностью она достигла потрясающего эффекта: ко всему, что она отвергает, советский человек относится с глубоким интересом, ко всему, что превозносит, с не менее глубоким отвращением. Это распространяется на все сферы культурной и общественной жизни. Например, если советская печать хвалит того или иного писателя, издавать его конечно, будут, но читать вряд ли. В свое время популярность Зощенко, Ахматовой, Пастернака и Солженицына резко возросла после того, как советская пропаганда подвергла их уничтожающей критике, а Василий Гроссман, вполне заслуживший равного места в этом ряду, мало кому известен только потому, что его душили тихо, без пропагандной шумихи.

Ежедневно советские газеты, радио и телевидение проклинали Соединенные Штаты Америки, расписывая самыми черными красками безработицу, расовую дискриминацию, преступность, девальвацию и обнищание. Но именно в результате этой пропаганды огромное количество советских людей вообще считают, что в Америке нет никаких серьезных проблем, там можно, ничего не делая жить в роскошных условиях, играть в казино и ездить на кадиллаке. По этой причине некоторые эмигранты встречаясь с реальной, а не воображаемой жизнью, разочаровываются в Америке и ругают советскую пропаганду за то, что она их якобы дезориентировала. Это как в анекдоте: один пассажир в поезде спрашивает другого куда тот едет. «В Жмеринку», – отвечает тот. «Зачем вы меня обманываете?» – возмущается попутчик. – Вы говорите что едете в Жмеринку, чтобы я подумал, что вы едете в Житомир, хотя вы на самом деле едете в Жмеринку!"

Советская – антисоветская

Советская коммунистическая пропаганда, потеряв ориентиры, постепенно смыкается с антикоммунистической и антисоветской. Например, антисоветская пропаганда утверждает, что советским государством со времени его возникновения правили одни преступники. Советская пропаганда утверждает почти то же самое. Десятки высших руководителей государства от Троцкого до Хрущева объявлены и до сих пор считаются врагами народа, зонтами империализма и иностранных разведок, в лучшем случае, антипартийными фракционерами и волонтеристами.

И антисоветская, и советская пропаганда утверждают, что никакого социализма с человеческим лицом нет и не может быть.

Всякие предположения западных футурологов о возможной эволюции советской системы советская пропаганда отвергает с крайним негодованием, утверждая, что никакой эволюции нет и не будет. (Это утверждение и ненаучно, потому что эволюция – объективный фактор, она в ту или иную сторону происходит всегда, и антикоммунистично, потому то в результате чего же, если не эволюции, наступит когда-нибудь коммунизм?)

С еще большей враждебностью встречаются попытки западных коммунистов спасти «научное мировоззрение» от полного краха. Советская пресса резко нападает на тех, кто такие попытки предпринимает, как это было, например, с Каррильо и Берлингуэром, Распространение их речей советскими гражданами каралось не менее жестоко, чем распространение «Архипелага Гулаг». Да что там Берлингуэр и Каррильо! Распространение отдельных статей Маркса, Энгельса и Ленина тоже может кончиться очень большими неприятностями. Я уже не буду говорить о том, что ожидает распространителей разоблачающих Сталина документов XX съезда КПСС. Но вот пример более показательный. В начале 70-х годов на Урале, кажется, в Свердловске, была арестована группа рабочих, распространявших не листовки, нет, и не фальшивки ЦРУ, а все еще не отмененную, обещавшую скорое построение коммунизма, само собой разумеется, величественную и грандиозную Программу Коммунистической партии Советского Союза.

Наш человек в Стамбуле...

Очень важная вещь в жизни советского человека – анкета. Вещь, достойная того, чтобы быть воспетой. Будь я сочинителем од, я бы одну из них посвятил этому незаменимому изобретению бюрократического ума.

Анкеты бывают разные. Бывают попроще, бывают потруднее, а бывают такие, что черт ногу сломит. Сложность анкеты возрастает соответственно значению места, которое человек хочет при помощи этой анкеты занять. Например, когда я работал плотником, мне при поступлении на работу анкету давали самую простую. Вернее, даже и не анкету, а листок по учету кадров. Я уж точно не помню, но, по-моему, там спрашивали только фамилию, имя-отчество, год рождения, профессию и разряд. А после этого топор в руки, и иди трудись, партия тебе доверяет. Но чем лучшее место хочет занять тот или иной товарищ, тем меньше партия ему доверяет, тем больше вопросов задает и с тем большим подозрением вглядывается в ответы.

Первую подробную анкету мне выдали, когда я поступал в 50-м году в Запорожский аэроклуб. Я не помню уже, сколько там было вопросов, сорок или пятьдесят, но некоторые произвели на меня впечатление и запомнились до сих пор. Несмотря на то, что я родился в 1932 году, то есть через пятнадцать лет после революции, я должен был ответить на вопрос, служил ли я в Белой армии, где, когда и в каком чине. Состоял ли в каких-либо политических партиях. Само собой, есть ли родственники за границей и, если есть, кто они, что они, как можно подробнее. Почти на все вопросы я отвечал совершенно искренне и правдиво. Нет, в Белой армии не служил, ни в каких политических партиях не состоял, родственников за границей не имею. Впоследствии я, правда, узнал, что один из моих дальних родственников был близким соратником маршала Тито, которого советская печать в то время иначе, как кровавой собакой, не называла, но тогда о существовании этого родственника я даже не подозревал. Пожалуй, только в одном случае я сознательно соврал. На вопрос, находился ли кто-нибудь из родственников под судом, я ответил «нет», хотя точно знал, что мой отец провел в сталинских лагерях пять лет. Короче говоря, мол анкета удовлетворила тех, кто ее читал, и Родина доверила мне управление планером, летавшим со скоростью 65 километров в час.

Между прочим, это оказанное мне небольшое доверие потом обернулось большим недоверием. Три года спустя я служил в Польше авиамехаником. Хоть и говорят, курица не птица, Польша не заграница, а все же условия нашего существования в этой стране были немного получше, чем на родной территории. Денег больше платили, кормили лучше, давали сливочное масло, которого в Советском Союзе солдат даже не видит, и курили мы там не махорку, а папиросы «Беломорканал». И вдруг вызывают меня к командиру полка, и тот говорит: «Слушай, а ты, оказывается, летчик!» «Да какой там летчик, говорю, на планере я летал». «Но значит планером управлять умеешь?» «Да уж чем-чем, говорю, а планером управлять умею. Ручку от себя, ручку на себя – дело нехитрое». «Ну, раз ты уже знаешь, как с этой ручкой управляться, поезжай в Советский Союз, будешь учиться на вертолетчика». Собрал я чемодан и поехал в Советский Союз. А приехав в город Кинель Куйбышевской области, увидел, что там таких асов, как я, собралось человек сто, не меньше. Кто из Польши, кто из ГДР, кто из Австрии, в которой тогда тоже наши войска стояли. И там уже я выяснил, что меня не на вертолетчика учить собирались, а просто из-за границы выгнали. Потому что незадолго до этого какой-то авиамеханик на штабном кукурузнике перелетел в Германию из советской зоны в американскую.

Так меня моя анкета подвела самым неожиданным образом. С тех пор к этим анкетам я относился с очень большим подозрением. И очень не любил их заполнять. В конце 50-х годов, уже после армии, работал я в Москве плотником и писал стихи, которые тогда еще

никто. не печатал. Работа моя меня мало устраивала, мне хотелось быть ближе к искусству. Проходя однажды мимо МХАТА, я увидел объявление о том, что этому театру требуются рабочие сиены. Ну вот, решил я, эта работа как раз по мне. Зашел в отдел кадров, меня встречают очень приветливо, "я для них просто находка, потому что у рабочего сцены зарплата маленькая, никто не хочет к ним идти. «Вот вам анкета, – сказали мне, – вы ее внимательно прочтите, заполните, потом принесите нам, потом вас недели три будут еще проверять, после чего мы вам сообщим, когда выходить на работу». Я очень удивился, почему такая длинная анкета и зачем так долго ее проверять. «Вы сами должны понимать, – сказали мне, – наш театр особый, наши спектакли смотрят иногда руководители партии и правительства, кроме того, мы время от времени выезжаем на гастроли за рубеж».

Я взял анкету с собой и изучил ее дома. В ней было бесчисленное количество вопросов, касавшихся не только меня самого и моих родителей, но бабушек и дедушек и родственников жены, на которые я просто не мог ответить. Я эту анкету выкинул, и мое сотрудничество с прославленным театром не состоялось.

Я думаю в Советском Союзе нет ни одного человека, который, заполняя анкету, не испытывал бы перед ней страха. Он видит за анкетой то таинственное лицо, которое будет ее читать, внимательно сверяя с тут же приложенной автобиографией, сопоставляя одни ответы с другими, выискивая, нет ли в них противоречия и ставя после них плюс или минус. Член партии – плюс, беспартийный – минус. Не был на оккупированной сорок лет назад немцами территории – плюс. Есть родственники за границей – минус. Русский – плюс. Еврей – минус.

В короткий период советской истории, когда приоткрылись двери в Израиль, оказалось, что принадлежность к еврейской национальности, да еще при наличии родственников за границей дает небывалый шанс навсегда избавиться от этих анкет и от их неприятных вопросов. Но при устройстве на работу в Советском Союзе еврей всегда сталкивается с препятствием, иногда преодолимым, иногда – нет. То же можно сказать о крымских татарах или о немцах (у последних, впрочем, тоже есть или был шанс уехать). Но представители некоторых малых народностей имеют иногда преимущества перед всеми, включая русских.

Я знаю случай, когда один физик устраивался в престижный научно-исследовательский институт. Директор института, будучи евреем и человеком чувствительным к национальному составу своих кадров (то есть он старался избежать обвинения, что берет на работу слишком много евреев), побеседовав с будущим сотрудником, выяснил его профессиональный уровень и сферу научных интересов, помялся и спросил: «Ну, а как насчет остального?» Поступающий на работу сразу понял вопрос и охотно ответил: «Насчет остального у меня все в порядке, я – нанаец».

Некоторые начальники отделов кадров и руководители учреждений не удовлетворяются национальностью, указанной в паспорте, и хотят знать о каждом из родителей. Один мой знакомый, много лет назад поступая на работу на радио, был принят председателем Государственного комитета по радиовещанию СССР Сергеем Кафтановым. Тот тоже интересовался профессиональной подготовкой и другими данными нового сотрудника, а затем спросил: «А кто ваша мама?» «Мама – гречанка», – быстро ответил мой знакомый. «А папа?» «А папа – инженер».

Но несмотря на то, что все начальники отделов кадров только тем и занимаются, что вчитываются в анкеты, выискивая несоответствия и изъяны в биографии сотрудников своего учреждения, иногда самые невероятные нелепости проходят мимо их бдительного ока. Некоторые люди из озорства пишут какую-нибудь чушь, вроде того, что служил в Белой армии в чине генерала. Другие пишут чушь вовсе не из озорства, а из практических соображений. Иногда на этой почве разражаются скандалы. Вдруг оказывается, что какой-то директор института, доктор наук, профессор на самом деле не осилил в школе и седьмого класса,

никогда не защищал никакой диссертации и о руководимой им науке имеет очень приблизительное представление.

Свидетелем одного из таких казусов был и я. В середине 60-х годов, будучи членом бюро секции прозы в Союзе писателей, я был приглашен на разбор персонального дела писателя Новбари. Этот Новбари был обвинен какой-то женщиной в присвоении и публикации под своим именем ее пьесы. Разбиравшие это дело на первом этапе заглянули в анкету Новбари и прочли его автобиографию. Автобиография была красочной. Он родился в Ираке и четырех лет был продан в рабство. От своего рабовладельца бежал. Затем вступил в коммунистическую партию Турции и через некоторое время стал резидентом советской разведки в Стамбуле. Когда сопоставили данные, указанные в анкете и автобиографии, получилось, что в коммунистическую партию он вступил девяти лет от роду, а резидентом стал в одиннадцать. Там еще содержались всяческие фантастические измышления, которые ничем и никак не подтверждались. Настоящая его биография была гораздо скромнее вымышленной. Он родился не в Ираке, а в Азербайджане, за границей никогда не бывал. Оказалось, что в Союз писателей он вступил второй раз. Первый раз – в Таджикистане, где был исключен за подобный же плагиат и еще какие-то темные делишки.

И интересно, что в так называемом отделе творческих кадров Союза писателей, где работают сотрудники КГБ высшей квалификации, бумаги Новбари, наполненные абсурднейшим вымыслом, не вызвали никакого подозрения до тех пор, пока не разразился скандал.

Заседание бюро, где разбиралось дело Новбари, происходило, само собой разумеется, при закрытых дверях. Ответчик, пожилой и грузный человек восточного типа, казалось, нисколько не был смущен, а напротив, держался весьма воинственно. С самого начала он сказал, что разбор дела его не интересует, он принес заявление и просит рекомендацию для поездки в Сирию для сбора материалов к книге об освободительной борьбе арабских народов. Ему говорят: «Подождите, сначала мы должны разобраться с фактами вашей биографии. Могло ли это быть, чтобы вступили в партию в девять лет?» На этот и на другие вопросы Новбари отвечал уклончиво: «Кому надо, тот знает». «Но не могли же вы быть резидентом советской разведки в одиннадцать лет?» «Кому надо, тот знает». «Где же вы все-таки родились, в Багдаде, или в Баку?» «Кому надо, тот знает».

К моему удивлению, некоторые другие члены бюро прозаиков, о литературной деятельности которых я не имел ни малейшего представления, тут же проявили причастность к тем, на кого туманно ссылался ответчик: «А кто именно знает? Как фамилия? Из какого отдела?» И сами стали называть какие-то фамилии и отделы, демонстрируя в данной области изрядную осведомленность. Но Новбари в отличие от них военную тайну хранил, фамилии и номера отделов не раскрывал, тупо повторяя свое: «Кому надо, тот знает». Да к тому же продолжал настаивать, чтобы ему тут же выдали рекомендацию для поездки в Сирию. По этому вопросу было проведено голосование; все члены бюро, кроме меня, голосовали против поездки, я воздержался, за что сам чуть не получил выговор. (На меня набросились: как и почему я воздерживаюсь? Я ответил, что готов проголосовать за исключение Новбари из Союза писателей за плагиат и ложь, но не считаю себя вправе запрещать ему или разрешать ездить, куда он хочет, тем более, я сам невыездной). На этом первое заседание бюро закончилось. После чего секретарь московского отделения Союза писателей, он же генерал КГБ Виктор Ильин, позвал в другую комнату некоторых членов бюро и в том числе почему-то меня (по-моему, он хотел меня привлечь к более активной «общественной» деятельности) и сказал, что в следующий раз мы должны лучше подготовиться к разоблачению Новбари. «Его надо обложить как волка!» – сказал Ильин, и глаза его хищно блеснули. Потом он перевел взгляд на меня и немного скис: «Но вы, наверное, сбежите?» «Сбегу», – пообещал я уверенно, видя, что в стае этих хищников мне делать нечего. Я свое обещание выполнил и не знаю, как дальше расследовалось дело бывшего резидента в Стамбуле. Знаю только, что

все кончилось для Новбари благополучно, потому что он оставался в списке членов Союза писателей до самого моего отъезда на Запад в 1980 году. И наверняка состоит в нем и сейчас, если еще жив. Значит, те, на кого он ссылался, действительно знали о каких-то его заслугах и, как волка, обложить его не позволили.

Кое-что о беглецах

Особенно важные и подробные анкеты заполняются советскими людьми при выезде за границу. Ах, какие же это анкеты! Поэмы, стихотворения в прозе, а не анкеты! Я-то сам, правда, никогда их не заполнял, до этого дело не дошло. Мне такого доверия товарищи из партии, КГБ и Союза писателей никогда не оказывали. Но от других много про это слышал. И несмотря на это – бежит народ. Со страшной силой бежит. Бежит, как сказал поэт, быстрее лани. Да что там лань! Лань – животное, конечно, быстрое, но все же скорость его ограничена. А вот летчик Виктор Беленко (помните?), он несколько лет назад в Японию на своем МИГе быстрее звука бежал. Тогда еще анекдот о новой рекламе Аэрофлота родился: «Один МИГ – и вы в Японии».

Ну, анекдотов по поводу бегства советских людей и их социалистических братьев на Запад было немало. Помню, когда-то шел вокруг Европы польский корабль «Стефан Баторий». Пассажиры бежали с него чуть ли не в каждом порту, поодиночке и группами, так что корабль почти опустел. Тогда поляки остряли, что его надо называть не «Стефан Баторий», а «Летучий голландец» («Стефан Баторий» оказался верен своей традиции. 20 ноября 1984 года только в одном Гамбурге с него опять сбежало 192 пассажира). А после бегства некоторых артистов балета родилась шутка: «Что такое Малый театр? Это Большой театр после заграничных гастролей».

Но шутки шутками, а люди бегут. И какие люди! Артисты, дирижеры, режиссеры, гроссмейстеры, заслуженные мастера спорта, доктора всевозможных наук, орденосцы, лауреаты, депутаты, дипломаты и, само собой, работники Комитета государственной безопасности. Эти-то бегут, пожалуй, больше других. Из них уже можно было бы создать хорошую команду по бегу с препятствиями. Бегут мелкие сошки и большие чины. Даже заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Аркадий Шевченко, и тот сбежал. А совсем недавно, говорят, генерал-лейтенант в полной форме перешел турецкую границу пешком.

Казалось бы, какие люди! Проверенные! И в местной партийной организации их проверяли. И на райкоме характеристику утверждали. И выездная комиссия ЦК и КГБ всю подноготную бдительно изучала. И все, как говорится, было в ажуре. И социальное происхождение, и служебное положение. Политически выдержан, морально устойчив. Производственные задания выполняет. На собраниях выступает. В субботниках участвует. Жене не изменяет. Судимостей, выговоров и венерических болезней не имеет, партийные взносы платит вовремя.

И вот, имея такие прекрасные по всем статьям показатели, человек все же бежит.

У меня один знакомый был. Режиссер. В документальном кино работал. Он однажды фильм о балете снимал. Начал снимать одного солиста, ему говорят: «Нет, этого не надо, он нехороший.» Потому что он однажды письмо какое-то нехорошее в чью-то защиту подписал. Режиссеру говорят руководящие товарищи: «Вы этого не снимайте, он плохой, а снимайте такого-то, он – хороший. Он у нас народный талант, национальное достояние, прыгает выше других, писем не подписывает, на политинформациях регулярно присутствует, общественную работу как депутат горсовета ведет и вступил кандидатом в партию». Режиссер, конечно, советский и сам тоже политически выдержан и морально устойчив. Что скажут, то и делает. Так он этого нехорошего вырезал, а на хорошего еще километра два пленки извел. Довольный собой, бежит показывать свой шедевр начальству.

Садятся они в темном зале. Гасится свет, играет музыка, на экране почти что голый возникает кандидат в члены КПСС и так подпрыгивает, словно его уже в действительные

члены произвели. Режиссер косит взгляд на начальство, начальство косит взгляд на него и, даже в темноте видно, хмурится. А потом и говорит:

– Это кого ж ты нам показываешь?

– Как же кого? Это же этот... – и называет фамилию. – Наш несравненный народный талант и народное достояние, кандидат в члены и депутат горсовета.

– А ты знаешь, что этот депутат не далее, как вчера, политическое убежище попросил?

– Не может, – режиссер говорит, – быть! Не могу себе даже этого представить.

– Как это ты не можешь представить? Ты что же, «Голос Америки» что ли не слушаешь?

– Нет, нет, что вы! – говорит режиссер, – Сам не слушаю и детям своим не разрешаю такую дрянь слушать. А насчет артиста, так вы же сами сказали, чтобы не этого снимал, а вот этого.

Это он, конечно, сказал, не подумавши. Лучше бы он возвел на себя напраслину, признался, что слушает одновременно «Голос Америки», «Свободу» и «Би-би-си». А он вместо этого намекнул начальству, что оно само в промашке такой виновато.

И дело для него очень печально кончилось. Вышел по его поводу секретный приказ. Картину смыть. Режиссера от работы в кино отстранить, выговор ему за притупление политической бдительности и протаскивание на экран сомнительных личностей залепить.

Режиссер сам после этого стал политически не выдержан и морально не очень устойчив. Запил, опустил, бороду отрастил, радио иностранное стал слушать. Потом, правда, исправился. Пить перестал, бороду сбрил, «Спидолу» свою в комиссионку отнес. Стал опять посещать собрания, по членским взносам всю задолженность уплатил, и никакого радио. Только хоккей и фигурное катание по телевизору смотрит, и когда наши побеждают, кричит «ура» так, что даже соседям слышно.

Начальство видит: все-таки свой человек. Споткнулся в свое время, конечно, но с кем не бывает. Сняли с него опалу, стали работенку подкидывать. А потом уж, войдя в полное доверие, режиссер и вовсе обнаглел и подал заявку на очень необходимый сегодня фильм. «По ленинским местам» фильм должен был называться или как-то в этом духе, я, признаться, точно не помню. А места эти, ленинские, они, как известно, в большинстве своем за рубежами нашей отчизны находятся. Потому что товарищ Ленин в свое время был тоже как бы невозвращенец. И от царской власти скрывался, как я сейчас от советской, – и в Мюнхене, и в Женеве, и в Париже, и в Лондоне.

Начальство, конечно, заколебалось немного. Все же ошибку когда-то допустил. Но потом посмотрели на него так и эдак. И анкета – как стеклышко, и к спортивным нашим успехам равнодушен, и кто секретарь французской компартии, знает, и в моральном разложении проявляет сдержанность. Объяснили ему, чтобы он там на провокации не поддавался, в связи с лицами враждебного пола не вступал, в магазинах на товары не набрасывался, а если спросят про Сахарова, надо отвечать: «Лично с ним не знаком и ничего хорошего о нем сказать не могу». А про Афганистан следует говорить: «Я точно не знаю, где это, но слышал, что временно ограниченный контингент помогает крестьянам в уборке хлопка и ремонте дорог».

Выдали ему в ОВИРе заграничный паспорт, выдали в банке ограниченную сумму валюты, продали в Аэрофлоте билет в два конца. Один конец оказался лишним. Он и до сих пор по ленинским местам передвигается. Мюнхен-Цюрих-Женева-Париж-Лондон.

Вот я и говорю, за границу-то у нас не каждого пускают. Отбирают самых достойных, самых проверенных, а они-то как раз и бегут.

Правда, когда сбежит такой вот проверенный, тут-то и выясняется, что он такой-сякой, и доллары любит, и джинсы носит, и на женщин легкого поведения падок, а бывает, даже и к особам собственного пола равнодушен.

При этом на все больные мозоли невозвращенца нажимают, близких родственников заставляют рыдать на страницах газет, официальные представители государства ищут с беглецом встречи, поют сладкими голосами: вернись! Родина тебе все простит и к тому, что у тебя было, еще что-нибудь добавит, а не вернешься, такой-сякой (тут следуют шепотом всякие сильные выражения), мы тебя все равно, где б ты ни был, достанем.

И, само собой, начинают попрекать его каждым куском, который дала ему партия: и образованием, и воспитанием, и дачами, и автомобилями, и тем, что к распределителю был приставлен. И чего, говорят, ему не хватало? А ему, может, свободы не хватало. Не той, которая осознанная необходимость. А той, которая осознанная или даже неосознанная потребность. А может, он от этого вашего распределителя и сбежал? Может, ему стыдно бывало выходить из вашего секретного заведения с куском салями или осетрины, завернутыми в серую бумагу, чтобы не кидалось в глаза? Может, ему противно было проходить унижительную процедуру проверки лояльности, которой подвергается каждый, собирающийся выехать за рубеж? Может, у него язык не поворачивается сказать, что он не знает, кто такой Сахаров и где находится Афганистан.

И вот еще что интересно: а почему к нам-то никто не бежит? Если у нас все так хорошо: и безработицы нет, и квартиры дешевые, а медицина и вовсе бесплатная, и человек человеку – Друг, товарищ и брат. Но вот приезжают в страну своей мечты то Анджела Дэвис, то Жорж Марше, то Джеймс Олдридж, то еще какой-нибудь иностранный товарищ заявится. А его ведь встречают не то что нашего за границей, его на длинной машине возят, в лучшей гостинице поселяют, красоты всякие показывают, черную икру на красную намазывают. А они покрутятся здесь, покрутятся да и отправятся восвояси. Не бегут. Хотя их никто не проверял. Хотя в их странах никаких выездных комиссий не существует. А может как раз поэтому? Может, все эти выездные комиссии и есть одна из причин, по которым люди бегут? Потому что, если вам хочется навестить дядюшку в Лос-Анжелесе или тетюшку в Амстердаме или, скажем, провести пару недель на берегу Средиземного моря, гораздо приятнее просто взять билет на самолет и не клясться, что будешь бдительным, будешь давать отпор, а к улыбке встречной женщины относиться как к заранее запланированной провокации.

А если уж никак нельзя жить без выездной комиссии, то секретным товарищам, которые там работают, я хотел бы дать очень полезный совет. Надо усилить бдительность. Надо отбирать кандидатов из кандидатов. В первую очередь убежденных коммунистов, активных общественников. Внимательно изучать их анкеты, характеристики, донесения осведомителей. И когда будут отобраны самые преданные, самые достойные, лучшие из лучших, их как раз за границу ни в коем случае и не выпускать. Потому что, как я заметил, именно они чаще всего к бегут.

Земляки

Я уже даже не помню, в каких книжках, но во многих читал, и это даже стало своеобразным штампом: во время войны и особенно на иностранной территории встречаются русские советские солдаты и начинают восторженно: «Земляк, откуда?» И несутся из разных углов ответы: «Из Воронежа!», «Из Тамбова!», «Из Уссурийска!» Земляки, Хотя и кличут друг друга насмешливо тамбовскими волками, вологодскими водохлебами, косопузой Рязанью, а все же нежно друг к другу относятся. Какие ни на есть, а все же земляки, в одной стране родились, на одном языке говорят, с одними и теми же песнями выросли. Откуда, земля? Оттедова.

Ну, это, конечно, не только у русских. Всем это свойственно. Встречаются два американца. – Вы откуда? – Я из Оклахомы. – А я из штата Мичиган. – Фаин! Замечательно! Неужели это возможно?

Так всегда и везде. Чем дальше от родной земли, тем радостнее встреча. Встречает немец немца, француз француз, радуются друг другу, как родственники. Потому что жители других стран им тоже, может быть, интересны, но свои как-то ближе. Хочется иногда поделиться чем-то общим и сокровенным, чего другие вовсе и не поймут.

Встретились, допустим, два конголезца, у них сразу же общие ассоциации: Конго, крокодилы, московский университет имени Патриса Лумумбы. Все это для них для всех что-то значит, какой-то, понимаете ли, содержит сокровенный смысл.

А что значит сейчас для нас, для русских, встретить за границей земляка где-нибудь на улице, в пивной, в театре, в супермаркете?

У меня как раз первое воспоминание о такой встрече именно с супермаркетом связано. Пришли мы как-то с женой в один такой большой-большой магазин, вроде, допустим, ГУМа, с тем только различием, что в ГУМе людей до черта, а товаров кот наплакал, а здесь все совершенно наоборот: товаров сколько хочешь, а людей умеренно. Идем мы между рядами с большой тележкой и смотрим, чего бы такого приобрести. И, само собой, вслух, думая, что нас все равно здесь никто не поймет, качество этих товаров обсуждаем. Вдруг подлетает к нам другая пара.

– Вы русские?

– А какие же еще? Конечно, русские!

– И мы русские! Из Москвы!

– И мы из Москвы.

– Надо же, земляки! Мы живем на улице Дыбенко. А вы на какой?

– А мы жили на Черняховского.

– Ну как же, как же, знаем, это возле метро Аэропорт. Там писатели живут. Вы, значит, гам прямо рядом с писателями и живете?

– Там прямо рядом и жили, а теперь вот переехали.

– Переехали? Из такого хорошего района. И на какой же вы улице теперь живете?

– А теперь мы живем на улице Ханс-Каросса-штрассе.

Я вижу, жена уже мужа за рукав тянет и на ногу наступает, а он тупой, до него не сразу это сообщение доходит.

– Как вы сказали... Ханс-Каросса... так вы значит, извините, эмигранты?

– Вот именно, эмигранты. Отщепенцы.

– А, ну тогда извините.

И – бежать. Только мы их обоих и видели.

Это была первая такая встреча, но вовсе не последняя. И каждый раз одно и то же. Если это соотечественник, приехавший за границу только на время, то сначала он бежит к тебе, как

к родному брату, а потом опомнится и так же быстро бежит обратно. Потому что выездные советские граждане-люди, как правило, осторожные. Они и поездку эту свою заслужили прежде всего осторожнейшим поведением. А перед поездкой их еще там пугали, чтобы на провокации не поддавались, при виде витрин замуривались, а от эмигрантов шарахались, как от чумных. Ну они и шарахаются, боясь не столько провокаций со стороны эмигрантов, сколько зоркого глаза своих наблюдателей.

И случайные эти встречи оставляют во мне такой неприятный осадок, что теперь я к соотечественникам своим не только не кидаюсь, а даже напротив, столкнувшись с ними, делаю вид, что не понимаю по-русски ни слова.

Но иногда уклониться трудно.

Совсем недавно решили мы поехать в горы, покататься на лыжах. Здесь в Мюнхене погода ненадежная, снег то выпадет, то растает. Решили отправиться за границу, в Австрию. Прикрепили лыжи к крыше машины, поехали. На границе паспорта в окошко только просунули, нам полицейский машет, давай, проезжай, не задерживай. Приехали, стало быть, на лыжный курорт, где в прежние времена отдыхали богатые люди. А теперь всякие отдыхают. Приехали, с горки катаемся, падаем, друг другу «осторожно!» кричим. Вдруг подходит к нам девочка лет десяти, красивая, черноглазая. Смотрит на нашу дочку и говорит: – Вы русские? – Русские. – А откуда? – А ты откуда? – А я из Москвы. – Ну, конечно, мы тоже из Москвы, а сейчас где она живет, откуда сюда, на курорт, приехала? Я, естественно, спрашиваю ее, откуда она сейчас приехала, из Вены или тоже из Мюнхена? А она говорит: «Как откуда? Я же вам сказала, из Москвы». Она меня не понимает, я ее не понимаю. Я говорю: «А как же ты сюда приехала?» А она говорит: «Очень просто. У мамы отпуск, у папы отпуск, у меня каникулы, вот мы сюда и приехали на пять дней покататься на лыжах».

– Прямо так вот взяли и приехали?

– Ну да. А что? Прямо так вот и приехали.

А в глазах ее, я вижу, пробуждаются сомнения и подозрения. Она еще маленькая, всей политграмоты не прошла. Она, конечно, уже знает, что там, в Советском Союзе, люди делятся на тех, которым можно сюда ездить, и на тех, которым нельзя. Но еще не знает того, что среди тех, которые сюда приехали, обратно можно поехать тоже не всем. Но что-то такое уже чувствует и так бочком-бочком от нас постепенно отходит.

А я смотрю на нее и думаю: каким же нехорошим делом занимаются ее родители, если их вместе с дочкой просто так на каникулы сюда пускают и не боятся?

Ведь дети не только цветы жизни, а и незаменимые заложники.

В Москве, например, среди моих знакомых, включая даже известных писателей, артистов, художников и академиков, таких, которые хотя бы иногда могли выезжать за границу, вообще было раз-два и обчелся. А таких, которых бы вместе с детьми выпускали, я что-то и не припомню.

Но возвращаюсь к нашей новой знакомой, к Варя.

Приехала она, русская девочка, провести каникулы на австрийском курорте. А почему бы и нет? Она ничем не хуже всех других девочек и мальчиков – немецких, французских, итальянских, американских, – которые тоже сюда приехали на каникулы. Но она и ничем не лучше тех мальчиков и девочек в Советском Союзе, у которых родители невыездные и на Запад могут ехать не дальше Бреста.

Между прочим, одета Варя была во все здешнее, яркое с наклейками и нашлепками, что так нравится всем детям на свете. Ей это можно. Это детей простых невыездных родителей в штаб народной дружины таскают и в газетах высмеивают за заграничные майки и джинсы, на которые владелец, может, целый год по двадцатке откладывал.

А кто, кстати, возит эти джинсы из-за границы? А эти выездные товарищи, вроде Варяных родителей, они же и возят. Иногда чемоданами, а иногда и вагонами. Потом невыезд-

ным молодым людям сбывают втридорога. Потом о них же в газетах фельетоны пишут. Вот, мол, какие негодяи бывают. Майки со словами «Кока-Кола» носят, а надписью «Стройотряд № 4» брезгают.

Они же, эти выездные папаши-мамаши, и создали такую обстановку, при которой мы, русские, делимся на тех, кто или не может выехать за границу, или не может вернуться домой. А заслышав родную речь, сперва летим, как безумные, на ее звук: «Вы русские?» И тут же, опомнившись и даже не дослушав ответа, сломя голову кидаемся наутек.

Медаль за бой, медаль за труд

Говорят, что один из клиентов знаменитого дореволюционного адвоката Федора Никифоровича Плевако, будучи очень ему признателен за то, что Плевако выручил его из какой-то беды, сказал: «Не знаю даже, как вас отблагодарить». На что адвокат ответил: «Не беспокойтесь. С тех пор как изобретены деньги, проблема выражения благодарности перестала быть чересчур затруднительной».

Всякому человеку, в том числе и Плевако, очень приятно, когда его благодарят за проделанную им работу, но кроме благодарности человек еще хочет получить и материальное вознаграждение, потому что, хотя не хлебом единым он сыт, но и без хлеба жить невозможно.

Денежное вознаграждение за проделанный труд – это самое нормальное и естественное дело. Оплата должна зависеть от количества затраченного труда, от количества и качества произведенной продукции. В Советском Союзе, конечно, это все хорошо известно. В Советском Союзе уважение к труду так высоко, что за него не только деньги платят, за него еще и награждают всякими свидетельствами, дипломами, медалями и орденами. Трудовой подвиг приравнивают к ратному, а Герой Социалистического Труда имеет те же привилегии, что и Герой Советского Союза. Как сказал когда-то Александр Твардовский: «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд».

А вот правильно ли это? Я глубоко сомневаюсь. Ну, медаль за бой, это ладно. На войне человек рискует жизнью или даже отдает ее за свободу или родину. Его жертву никакими деньгами оплатить невозможно, и потому были введены в разных странах разные символические награды, чтобы просто можно было видеть, что этот храбрый и самоотверженный человек совершил. Ему нельзя заплатить денег достаточно за то, что он сделал. Тогда ему дают орден, чтобы мы, не совершившие того, что он совершил, видели и почитали его.

А вот труд, работа и даже тяжелая физическая работа и работа творческая и всякая другая, заслуживают ли они орденов?

Уже стало традицией, что в Москве 9 мая перед зданием Большого театра собираются бывшие фронтовики. Собираются весьма уже пожилые люди. Военные мундиры или штатские пиджаки увешаны орденами и медалями. Ищут состарившиеся герои своих однополчан или просто гуляют по улицам, чтобы молодежь, глядя на них, все-таки вспомнила, что эти старики не даром ели свой хлеб, что-то они все-таки сделали в жизни, не зря им выдали эти награды.

Один мой знакомый, назову его Николай Степанович, тоже в этот день надевает свои награды, правда, их у него немного. В отличие от других, он победный путь от Сталинграда до Берлина не прошел. Но прошел путь поражений от Кишинева до Ростова и был тяжело ранен. А остаток войны провел в Ташкенте, в госпитале. Понятно, что во время отступления советское правительство орденами разбрасывалось не так щедро, как на обратном пути. И, во время войны Николай Степанович заслужил только одно отличие – желтую нашивку, свидетельство тяжелого ранения. Первую награду получил уже после войны, это была медаль «За победу над Германией». Годы спустя дали ему в военкомате еще какие-то юбилейные, как он сам говорит, побрякушки. Надевает он их и тоже идет к Большому театру. И чувствует себя там неловко среди героев, у которых ордена и Ленина, и Красного Знамени, и Отечественной войны, а иной раз и Золотая Звезда Героя. Потолкается там, а что толку? Это в конце войны однополчане сговаривались где-то встречаться, а на том горьком пути отступления, когда война казалась проигранной, никаких таких встреч не предвкушали. Да и мало кому, кто прошел путь в одну сторону, довелось совершить и обратный путь. Потолкается Николай Семенович среди всех этих героев, присмотрится и видит: у одного из них боевое «Знамя», а у другого трудовое, у одного «Отечественная война», а у другого «Знак почета»,

и эти трудовые герои тоже среди героев военных расхаживают, выпятив гордо грудь. А чего бы им не гордиться, если из одного металла льют и те и эти медали?

У Николая Степановича военных медалей мало, и все жалкие, а трудовых и вовсе нет, не заслужил. Хотя в своем цеху был всегда лучшим токарем. И как какая-нибудь исключительно сложная работа, так начальство – к Николаю Степановичу, и он охотно за эту работу брался, потому что был настоящим мастером своего дела и любил делать что-нибудь необычное. Зарабатывал он не то, чтобы очень хорошо, но неплохо. Но насчет всяких орденов и медалей – этого не заслужил. Потому что возле начальства, в парткомах и завкомах не отирался, на собраниях отмалчивался, а во время выборов брал открепительные талоны. За что же ему ордена? Не за что.

А вот его коллега Иван Петрович, тот на фронте военном не был, а на трудовом отличился. Также начинал, как и Николай Степанович, токарем, и работал не то, чтобы очень уж хорошо, но неплохо. Но помимо трудовой деятельности занимался и общественной. Он и в парткоме, он и в завкоме. На демонстрации ходит, от выборов не уклоняется, на митинге, если надо заклеить международный империализм или еще что-нибудь в этом роде, клеймит, а когда его просят сказать свое рабочее слово, допустим, о Сахарове, он и тут не отказывается. И признание родины пришло постепенно. Сначала медаль, потом орден, потом другой, а потом и Золотая Звезда Героя социалистического труда. Теперь его в цеху и не увидишь. То он на сессии Верховного Совета, то на пленуме ЦК, то выступает в защиту мира, то совещается с такими же, как он, передовиками производства, то в составе рабочей делегации выезжает за рубеж. Конечно, ему почет и уважение, проезд в трамвае бесплатный, билет на поезд, на самолет или в кино вне очереди. Гостиницы для него открыты, а отдыхает он в лучших санаториях, где забивает козла с инструкторами обкомов, председателями исполкомов и отставными генералами.

Обычно он не все свои ордена носит, только Золотую звезду. Но уж па праздник Победы все вывешивает. И ордена, и медали, и все значки, какие имеет. И выходит на улицу с сознанием того, что ему есть чем гордиться.

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд...»

Между прочим, Твардовского, написавшего эти строки, правительство наградами не обходило. И за бой, и за труд у него были и ордена, и медали, и высшие советские литературные премии. А незадолго до смерти, к своему шестидесятилетию, он должен был получить еще одну награду. Но в это время он, по мнению партийного начальства, вел себя не очень хорошо. Отстаивал позицию руководимого им журнала «Новый мир» и защищал опального Солженицына. И разочарованный его поведением секретарь Союза писателей некий Константин Воронков сказал ему примерно так: «Жаль, Александр Трифонович, что вы себя так ведете. Ведь мы хотели вам дать Героя». На что Александр Трифонович за словом в карман не полез и сказал, что никогда не слышал, чтобы звание Героя давали за трусость. Я думаю, в данном случае Твардовский слукавил. Он хорошо знал, что звание Героя не только Соцтруда, а и Советского Союза дают когда и в самом деле за героизм, а когда и за другое.

За примером далеко ходить не надо. Брежнев, например, был Героем Социалистического труда и четырежды Героем Советского Союза. Тогда как Сталин, который тоже большой скромностью не отличался, но был, как ни крути, во время войны Верховным Главнокомандующим, званием Героя Советского Союза наградил себя лишь однажды.

Бывают, конечно, случаи, о которых в газетах пишут под заголовком «Награда нашла героя». Какому-нибудь герою дали орден, а он в это время то ли в госпитале лежал, то ли в плену находился, то ли в тюрьме сидел. И нашли его лет через двадцать-тридцать. А товарищ Брежнев находился не в лагере и не в тюрьме, а в политотделах, обкомах, в ЦК КПСС и в самом даже Президиуме Верховного Совета СССР, так что трудно предположить, что заслуженные им боевые награды не могли его разыскать вовремя. Он сам их нашел потом в

своих собственных сейфах. И сам вешал их на себя и на других безо всякой меры, без вкуса и без стыда.

Но все же боевые награды хотя и сильно обесценились, потому что выдавались кому попало и ни за что, а все-таки некоторые люди носят их заслуженно. А вот трудовые...

Мне сейчас трудовых Героев редко приходится видеть.

Потому что здесь, на Западе, за работу никому орденов не дают. К самоотверженному труду не призывают. А крестьян, например, даже просят и даже платят им деньги, чтоб они сильно не перетруждались и не производили столько товаров, сколько население съесть не может.

Здесь передовики производства не заседают на сессиях и партсобраниях, не обмениваются опытом, потому что им некогда, они работают. И за труд свой получают не правительственные награды, а деньги.

Конечно, к деньгам у многих из нас отношение неоднозначное. Я сам не люблю людей, которые никаких других ценностей в жизни не видят. Но все же деньги, заработанные честным трудом, являются не только материальным, но и моральным вознаграждением. Человек может купить ту вещь, которая ему нравится, может поехать туда, куда ему нравится, то есть не прозябать в унижительной бедности и не пользоваться постыдными привилегиями, а вести достойный образ жизни, который заслужил своим трудом.

ИЗ ЦИКЛА «РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ»

Простая труженица

Коммунисты... Об этой необыкновенной породе людей много написано и рассказано – и романов, и пьес, и киносценариев. На образе коммуниста воспитаны поколения. Каждый советский человек знает, что коммунисты – это люди особого склада. Из них можно делать гвозди, можно заливать глотки расплавленным свинцом, можно вырезать на спинах звезды, можно жечь в паровозных топках, а они хоть бы что. Или вообще молчат, или, если уж сильно припечет, выкрикивают какие-нибудь гордые слова о конечном торжестве своего дела и поют «Интернационал».

Однако до сих пор еще не все читатели хотят быть похожими на Павку Корчагина или Александра Матросова. Некоторым почему-то ближе какие-нибудь беспартийные типы, вроде Наташи Ростовской, Пьера Безухова или князя Мышкина. Лично я в литературе вообще предпочитаю положительным героям отрицательных. Мой, например, любимый герой – Собакевич, который говорил, что во всем городе только один прокурор хороший человек, да и тот, если разобраться, порядочная свинья. Или насчет еды; «По мне лягушку хоть сахаром облепи, я ее все равно есть не буду». Эти слова я бы отнес и к образу коммуниста, который уже скоро семьдесят лет, как сахаром облепляют, а он от этого съедобней не стал.

Коммунисты... Это, если судить по советской литературе, стойкие, непримиримые борцы за народное счастье. Им свойственна беззаветная преданность своему делу, жертвенность и товарищеское отношение к женщине. И в труде они первые, и в бою они первые. А если случалось так, что надо за что-то отдать свою жизнь, то, как говорилось в стихах, «и тогда еле слышно сказал комиссар: – Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперед!»

Я, конечно, по возрасту в больших сражениях не участвовал, но в обыденной жизни мне чаще всего попадались коммунисты, имевшие мало сходства с изображенными в литературе. Или это серый чиновник с отвислыми щеками, который волком смотрит на нижестоящего и беззастенчиво лебезит перед вышестоящим, или воровато выходящий с туго набитым портфелем из распределителя, или и вовсе какой-нибудь запуганный человечиска, который ни по какому более или менее серьезному поводу и слова никогда не скажет. «Что вы, что вы, я не могу, мне за это попадет, я же коммунист». Я уже не говорю о всяком ворье из тех, кто за казенный счет строил дачи, кто вагонами продавал за границу икру или иконы, кто устраивал притоны разврата. Такими вещами занимаются обычно коммунисты очень высокого ранга, но мне сейчас хотелось бы рассказать об одном из рядовых.

Как-то мы с женой приехали в один южный приморский город. Возле так называемого квартирному бюро на пыльной площади толпился народ. С одной стороны частники, с другой – дикари. Не те дикари, которые ходят в одеждах из перьев, а обыкновенные советские дикари, у которых нет путевок в санатории и которых в гостиницах не пускают и на порог. Мы тоже в этой толпе оказались, и тут же нас атаковали жадные до наживы домо – и квартирновладельцы. «Вам нужна комната? На сколько?» Оказалось, что мы не очень выгодные клиенты, потому что приехали только на неделю, а частники предпочитали таких, которые на сезон или хотя бы на месяц. Когда уже все от нас отказались, появился еще один, дохлый пожилой мужичонка с впалой грудью и стальными зубами. Он робко приблизился к нам: «Нужна комната? На сколько? На неделю? Нет, на неделю нельзя». И отошел. Но отошел неуверенно, и я понял, что на него можно давить. Я пошел за ним и спросил: «А может быть, можно и на неделю?» Он посмотрел на меня и обреченно кивнул головой: «Ну, пожалуйста». Потом увидел, что мы на машине, и сказал опять: «Вы на машине? Нет, на машине нельзя»

«А может быть, можно?» И он опять кивнул, «Ну, пожалуйста». Я потом заметил, что он всегда сначала отказывает, а потом говорит: «Ну, пожалуйста». Мы его так Нупожалуйста и прозвали.

Мы спросили, далеко ли ехать. Он сказал, нет, километра два-три.

– Я вам покажу. Я буду впереди бежать, а вы ежайте за мной.

– Ну, почему же вы будете бежать впереди, – удивился я, – садитесь, поедем вместе,

– Да, нет, ну зачем я буду садиться, как-то неудобно.

После того, как я ему объяснил, что нам еще более неудобно будет, если он побежит впереди, он сел на переднее сиденье (жена перебралась назад) и съезжился, стараясь занять как можно меньше места.

Оказалось, что Нупожалуйста живет на окраине, на пыльной ухабистой улице, по которой после дождя можно проехать разве что на тракторе. Дом, однако, был большой и добротный. На крыльце стояла женщина лет сорока могучего телосложения, в коротком и рваном сарафане. И со вкусом, звучно шлепала комаров на загорелых плечах и на ляжках.

– Ты кого это привез? – закричала она, глядя то на мужа, то на нас, как будто мы были совсем никчемным товаром.

– Дачников, Егоровна, привез на неделю.

– Дачников? – повторила она. – На неделю? Та шо это за дачники на неделю? Та шо ж там других не було?

– Не было, Егоровна, – испуганно отвечал Нупожалуйста, – Только эти и были.

– Ну, ладно. – Она посмотрела на нас более доброжелательно. – Так шо вы люди богатые, на машине, у меня есть для вас зала за десять рублей.

– В неделю? – спросила моя жена.

– Та, не, у день.

– Десять рублей это дорого, – сказал я.

– Та не дорого, – убивая комаров на ноге, сказала она.

– И к тому же у вас комары.

– Та яки комары? – сказала она и щелкнул себя по щеке. – Хиба ж это комары?

– А что же это?

– Та так. Насекомые.

Как-то мы все же поладили и вечером на террасе угощали наших хозяев купленным у них же вином. Нупожалуйста в основном молчал, говорила Егоровна.

– Я, Володя, работаю ото ж бригадиром на винограднику. Ото ж така важка, така тяжола работа, Володя. З пяти утра и до самого вечора. Така важка, така трудна работа. Но я люблю важко работать. Когда важко поработаешь, тогда ты собой тоже довольный бываешь.

Дом их, довольно большой, был забит отдыхающими. Мы снимали отдельную комнату. В других комнатах, как в общежитии, койки стояли рядами, каждая стоила два рубля в сутки.

Утром мы проснулись рано, солнце стояло уже высоко. Я вышел в сад к умывальнику и увидел в глубине сада сарай. Дверь сарая открыта, а внутри сарая на раскладушке ничком, в том же самом рваном высоко задравшемся сарафане лежит наша хозяйка. Надо же, на работу не пошла. Видимо, заболела.

После завтрака я опять увидел ее: она стояла у сарая, потягиваясь как штангист перед взятием веса.

– Вы сегодня не на работе, – спросил я. – Заболели?

– Та ни. У мене ж ото сэссия.

– Сессия? – удивился я. – Сельсовета?

– Та ни. Ото ж горсовета. Я там у культурной комиссии состою.

Мы с женой уехали на пляж, потом были в кино, потом в ресторане, вернулись – хозяева уже спали. Утром выхожу в сад, вижу – хозяйка опять спит в сарайчике.

– Опять сессия? – спросил я, когда она вышла.

– Та ни. Ото ж партсобрание.

На третий день у нее было совещание передовиков производства. На четвертый что-то еще. В этом доме по-настоящему трудился только ее беспартийный муж. Утром, пока она спала, он по ее приказу уже бежал, как он говорил, «на шоссу» ловить новых квартирантов. А потом в саду что-то строгал, пилил, окапывал деревья.

Поскольку мы уходили из дома раньше нее, а возвращались позже, я никогда не видел нашу хозяйку в достойном ее положения костюме. Всегда в одном и том же сарафане.

Она была словоохотлива и много раз повторяла, что любит тяжелую работу. Что работала во время войны на Алтае шофером и оттуда привезла своего теперешнего мужа. В партию вступила недавно.

– Мэнэ ж ото парторг наш, Иван Семенович, вызвал. «Ты что ж это, говорит, Егоровна, така хороша работница, а не в партии. Невдобно все же». Ну, я ж ото подумала, Володя, шо як мы, передовые труженики, не будем поступать у партию, то тогда хто ж? Тем более шо партия наша, она же руководит народом, она ж мудрая, миролюбивая, так же ж, Володя?

Я ей сказал, что я литератор, и она, выражаясь в партийном духе, видимо, рассчитывала, что я о ней что-нибудь напишу. Впрочем о ней уже и без меня писали. И в местной газете, и в столичном «Огоньке».

А ее муж Нупожалуиста, беспартийный пенсионер, уязвленный своим ничтожным на фоне жены положением, был у них в семье вроде домашнего диссидента. Молчал, молчал, а потом взрывался.

– Правильная политика, говоришь? Правильная? Никто не спорит, что правильная. А почему ж с китайцами-то поссорились? Член партии, а не знаешь. А потому поссорились, что они нам польты по сорок рублей продавали, а потом в наш магазин заходят и видят те же самые польты висят по сто двадцать.

– Та ты ничего не понимаешь, – махала она руками и просила меня: – Ты, Володя, этого не записывай, потому то он же глупый и отсталый.

Она мне свои тайны раскрывала постепенно. Накануне нашего отъезда мы опять пили вино на террасе.

– Ото ж стыдно сказать, Володя, но мэнэ ж ото орденом наградылы.

– Каким орденом? – я уже не удивлялся, но все-таки подумал, что орденом каким-нибудь маленьким.

– Та ото ж Лэнина. Меня в Краснодаре Полянский принимал, пальто подавал. Если бы говорит, до того, Егоровна, у тебя б не медаль, а хотя б «Знак почета», мы б тебе сейчас Героя дали.

Мы прожили в этом доме не неделю, а полторы. В последнее утро мы проснулись от шума. На крыльце галдели человек десять студентов, которых хозяин успел уже притащить с «шоссы» на наше место. Прощаясь с хозяином, я спросил: «А где Егоровна?» «Ушла на виноградник», – сказал он.

Это был ее первый выход на работу за все полторы недели.

Все эти дни мы провели или дома, или на берегу. А тут первый раз ехали через центр города. И в скверике перед зданием горкома увидели шеренгу портретов, над которыми было написано: «Лучшие люди города».

На четвертом слева портрете красовалась наша хозяйка. В темном костюме, в белой блузке, с орденом Ленина на высокой груди.

Ченчеватель из Херсона

Или вот такая история. Сидим мы как-то вечером на кухне у нас, в Москве, моя жена, я и еще одна наша приятельница. Известная, между прочим, актриса. Сидим, пьем чай, разговариваем. Актриса нам о телекинезе что-то рассказывает. О людях, которые взглядом могут даже самые тяжелые вещи передвигать. Годов, примерно с шестидесятих такие увлечения очень в моду вошли; телекинез, спиритические сеансы, телепатическое лечение на расстоянии.

Когда общественной жизни нет, критиковать власти или хотя бы рассказывать анекдоты страшновато, развлечения (театр, кино, телевидение) сплошь пронизаны пропагандой, а в книжных магазинах нет ничего, кроме томов скучных, изложенных нечеловеческим языком речей генерального секретаря и других членов политбюро, – тогда самое время удаться в мистику. Дело вроде бы не совсем советское, но в отличие от, допустим, распространения или хотя бы чтения самиздата, безопасное.

Сидим, разговариваем, вдруг звонок в дверь. Иду открывать, мысленно по дороге чертыхаясь: кого еще там нелегкая на ночь глядя принесла? Открываю, на пороге стоит незнакомый мне человек в форме торгового моряка. «Здрасьте, а я к вам!» Оказывается, моряк этот по дороге из Мурманска в Херсон решил в Москве остановиться. А брат его из Херсона раньше со мной в одном классе учился. Несколько лет назад брат этот у меня уже как-то ночевал, очень ему у нас понравилось, а теперь вот и другой брат подъехал. Надо сказать, что в Москве появление ночного гостя из провинции – явление не такое уж редкое. И объясняется это не столько нахальством или жадностью этих самых провинциалов, сколько совершеннейшей невозможностью попасть простому человеку в московскую гостиницу. Посмотрел я на этого моряка, посмотрел, не очень мне пускать его на ночь хотелось, но и отказать не сумел: ночь, погода плохая, и все-таки с его братом в одном классе учился...

Ладно, говорю, что же делать, раз уж так получилось, входите, только уж другим своим братьям и товарищам из Херсонского пароходства моего адреса больше не давайте.

Сел он с нами за стол, вынул из портфеля бутылку «Посольской водки», в Мурманске, говорит, достал, банку сайры и на актрису, нашу гостью, с восхищением смотрит. Вчера он ее только по телевизору видел, а тут, понимаешь, такое везение. Будет о чем рассказать товарищам и в Мурманске, и в Херсоне. И чтобы не ударить лицом в грязь, моряк тут же принялся рассказывать о всяких своих странствиях по белу свету в качестве механика какого-то сухогруза. И как их застиг туман в проливе Лаперуза, и как качало их у берегов Новой Зеландии, и как они на мель сели где-то у берегов не то Марсея, не то Катании.

И как пошел названиями портов всяких сыпать, так не только мы с женой, а и наша актриса рот раскрыла, ошеломленная. Она хоть и выездная была, но и ее опыт заграничных поездок (один раз Париж, один раз Будапешт, два раза Восточный Берлин и четыре раза София) сейчас ей самой чепухой показался.

А моряк, завладев нашим вниманием, и совсем разошелся. Босфор, говорит, Дарданеллы, Джорджес Банка, такие, знаете ли, названия, ну прямо Жюль Верн.

А форма на нем красивая, нашивки блестят, пуговицы золотые и на руке часы с тройным циферблатом. И он на эти часы довольно часто поглядывает, но не потому, что хочет водку скорее допить и спать идти, а потому, что догадывается, что мы раньше таких часов и не видели. И когда он в очередной раз на часы посмотрел, я у него все-таки спросил, где же он такие замечательные часы купил. «Это, говорит, я в Лас Палмас сченчевал». И тут же зажигалку вынул, а на ней девушка нарисована. Прямо держишь зажигалку – девушка в купальнике, перевернешь – она без. «А это, – говорит он уже без моего вопроса, – я сченче-

вал в Амстердаме». Очень это было нам все интересно, но только слова этого «ченчевать» я прежде никогда не слыхивал. И спросил, что оно означает.

– Чейндж! – сказал моряк твердо и поставил рюмку на стол. – Английский в школе учил? Чейндж. Обмен, значит. Мы когда в загранку уходим, покупаем в магазинах все, что есть. Часы, духи, матрешек, мыло, булавки, пуговицы, короче говоря все, что под руку попадется.

– И неужели на эти наши товары можно что-нибудь выменять?

– Еще как можно! Конечно, где-нибудь в Гамбурге или Ванкувере такой товар не идет. Но мы ж не только туда ездим. Мы и странам третьего мира помогаем. А уж в этих-то странах...

Воспоминания об этих странах почему-то вызвало в нем такой приступ смеха, что он чуть под стол не свалился, но я его вовремя подхватил. Придя в себя, стал он рассказывать, где чего ченчевал. Самые приятные воспоминания были у него связаны с Суэцким каналом.

– Идешь, значит, Суэцким каналом, а на берегу бедуины стоят. Мы всех арабов бедуинами называем. Кричишь ему: «Чейндж!» Он отвечает: «Чейндж!» Ты ему на веревке свой товар опускаешь, он тебе на палке свой поднимает. Тут надо быть очень бдительным. Если ты ему раньше свой товар опустил, он его схватил и бежать. Все. Чейндж закончился. Если он раньше поднял, ты схватил, тоже чейнджу конец. Тут надо все с умом делать. А то я помню, везли мы как-то...

И он рассказал историю, как везли они как-то партию газиков-вездеходов, опять же для помощи странам третьего мира. Сначала колеса снимали, сченчевали. Потом спидометры повытаскивали, сченчевали. Фары пооткручивали, сченчевали.

– А как же, – спрашиваю, – те, кому вы везли газики, они вам претензии не предъявили?

– Да вы что? Да какие претензии? Это же помощь. Это же бескорыстно, чего дают, то бери. Да газики это что? Мы и с судна всякие вещи ченчуем. Снимешь спасательный круг – чейндж! Прибор какой-нибудь отвернешь – чейндж! А однажды ничего под рукой не оказалось, так и якорь латунный пришлось сченчевать. Думаете, просто было? Его целиком не выкинешь, бедуинам поднять его нечем, он же тяжелый. Так мы его сначала в каюту втащили и там на куски пилили, ножовку смазывали, чтоб не пицала. А потом куски в иллюминатор кидали. А бедуины в аквалангах за ними ныряли.

И рассказывал так до поздней ночи, где был и что на что ченчевал, и нас уморил, да и сам притомился. Стал зевать и на часы поглядывать, но уже не с тем, чтобы видом их поразить, а намекая, что пора и в постель. Но когда я спросил его, не член ли он партии, он опять встрепенулся, плечи расправил, щеки надул и сказал с достоинством:

– Да-а, коммунист.

Партийная честь

Одного кинорежиссера давным-давно, еще в пятидесятых годах записали в очередь на квартиру. А жилищного строительства тогда в Москве не было почти ни какого. И очередь двигалась ужасно медленно. Но все: же двигалась, и режиссер, наконец, оказался в ней первым. И стал уже с женой воображать, как они получают ордер, как мебель расставят, куда кровать, куда телевизор. Месяц воображают, два воображают, полгода, год, он в очереди первый, а она то ли вовсе не движется, то ли движется как-то боком. Режиссер удивляется, но в чем дело, догадаться не может. Наконец кто-то, кто поумнее, ему говорит: «Ты, будешь в этой очереди стоять до второго пришествия или до тех пор, пока какому-нибудь нужному человеку на лапу не дашь», Л режиссер был человек принципиальный, хотя в партии и не состоял. «Нет, – говорит, – ни за что! Взятки никогда не давал и давать не буду. Взятки, – говорит, унижают и того кто берет, и того, кто дает». «Хорошо, – говорят ему, – тогда стой в очереди неуниженный». Ну он и стоит. Год стоит, два стоит, жена, само собой, пилит. Капризная, не хочет дальше существовать в коммуналке, не хочет по утрам стоять в очередь в уборную или к плите, чтобы чайник поставить. И надоело ей, видите ли, следить на кухне, чтобы соседи добрые в суп не наплевали или чего другого не сделали. Пилит она, пилит мужа, принципы его постепенно испаряются. Наконец он решился на преступление. «Ладно, – думает, – раз такое дело, один раз дам все-таки взятку, а больше уж никогда не буду». Был он в этом деле неопытный, но люди добрые помогли, свели его с одним значительным лицом из Моссовета. Сошлись они в ресторане «Арагви». Режиссер заказал того-сего: грузинский коньяк, лобио, сациви, шашлык по-карски. Выпили, закусили, и режиссер этому лицу, которое перед ним после коньяка расплывалось, прямо так говорит: «Знаете, – говорит, – я живу весь в искусстве, от обыденной жизни оторван, взятки еще никому никогда не давал и как это делать, не знаю. А вы, человек опытный, не могли бы мне подсказать, кому чего я должен дать, сколько, когда и где?» Лицо еще коньяку отхлебнуло, шашлыком закушало, салфеткой культурно губы оттерло и к режиссеру через стол перегнулось. «Мне, – говорит, – пять тысяч, здесь, сейчас». Хоть и шепотом, но четко, без недомолвок. "Хорошо, – говорит режиссер и достает из кармана бумажник. Но, впрочем, тут же несколько засомневался. «А что, – говорит, – если я вам эти пять тысяч вручу, а вы мне квартиру опять не дадите?»

Тут лицо от такого чудовищного предположения опешило совершенно и чуть шашлыком даже не подавилось. Даже слезы на глазах появились. Даже голос задрожал. «Да что ты! – говорит. – Да как ты мог на меня так подумать? Да ведь я ж коммунист!»

И ведь на самом деле честный человек оказался. И месяца не прошло, как режиссеру ордер выписали. И зажили они с женой в новой квартире припеваючи. Пока не разошлись. Правда, к тому времени с квартирным вопросом полегче стало. Так что режиссер эту квартиру оставил старой жене, а с новой женой в кооператив записался. Там, ясное дело, тоже надо было на лапу дать, но режиссер был человек уже опытный и сам вступил в партию. Так что он знал уже точно, кому, чего, когда и где.

Как искривить линию партии?

Ленин однажды сказал, что настоящим коммунистом может быть только очень образованный человек, овладевший самыми передовыми знаниями своего века. Среди современных советских коммунистов есть и такие, которые более или менее соответствуют ленинскому идеалу. Но коммунист коммунисту рознь. Рядовой коммунист может быть рабочим, колхозником, академиком. Он платит членские взносы, сидит на собраниях, выполняет важные или неважные партийные поручения, но, в основном, занимается своей профессиональной деятельностью. Он может быть очень уважаемым в своей области специалистом, получать большую зарплату и много привилегий, но все-таки к высшей касте он не принадлежит. Высшая каста – это номенклатура. Это профессиональные партийные работники от районного уровня до членов Политбюро. Партийный работник может руководить любой отраслью промышленности, сельского хозяйства, науки или искусства, независимо от вправления и уровня своей подготовки.

Когда я учился в десятом классе вечерней школы в Крыму, мне было двадцать три года, то есть для школьника уже многовато. Но среди моих одноклассников некоторые были и постарше. Самому старшему было сорок шесть лет, мне он, естественно, казался стариком, вали его, допустим, Еременко. В школу он всегда приходил в строгом сером костюме – длинный пиджак, широкие брюки и туго затянутый галстук. Сидел на задней парте. Когда вызывали к доске, выходил и не отвечал ни на какие вопросы. Молчал, по выражению одной нашей учительницы, как партизан на допросе. (Понятно, что образ советского партизана-коммуниста был известен учительнице не по жизни, а по литературе).

У доски на Еременко было жалко смотреть. Ему задают прямой вопрос – молчит. Задают вопрос наводящий – молчит. Краснеет, потеет и ни слова. Учительница спрашивает: «Может быть, вы не выучили?» Молчит. Если уж раскрывал рот, то что-нибудь такое ляпал, что хоть стой, хоть падай. Однажды он не мог показать на карте, где проходит граница между Европой и Азией, а на вопрос учительницы, где же находимся мы, напрягся и ответил: «В Азии».

Преподаватели просто не знали, что с ним делать. Учительница химии была агрессивнее других и говорила, что его не выпустит. Другие были более либеральны. Не знаю, боялись ли они его, но смущались всегда, все-таки человек-то он был солидный. Они тихо говорили: «Садитесь, Еременко». И, смущаясь, ставили двойку. Или вообще ничего не ставили: «Ну, хорошо, я вам сегодня оценку ставить не буду, но уж к следующему разу, пожалуйста, подготовьтесь».

Ученики, конечно, везде бывают разные. Бывают блестящие, хорошие, средние и плохие. Но ученики такой тупости до десятого класса, как правило, не доходят. Дотягивают кое-как до четвертого, ну до седьмого, а потом или его выпихивают из школы или сам он выпихивается, предпочитая любой физический труд непосильному для него напряжению интеллекта. И Еременко будь он простой ученик, до десятого класса никак бы не добрался, но в том-то и дело, что он был не простой ученик, а номенклатурный: заведовал отделом в райкоме КПСС, и для продвижения по службе ему нужно было по крайней мере среднее образование. Правда, он учился не в том районе, которым правил, а в соседнем, сельском. В своем районе ему, как он сам говорил, партийная этика учиться не позволяла.

Обычно представители номенклатуры держатся подальше от простых смертных, но мы с Еременко сошлись, потому что я ему помогал по химии и математике. Потратив сколько-то бесполезных часов, мы иногда даже выпивали вместе, и тогда он был со мной вполне откровенен. Он с возмущением отзывался о нашей химичке: «А что это она позволяет себе так со мной говорить? Она, наверное, не представляет себе, кто я такой. Да я в нашем районе

могу любого директора школы вызвать к себе в кабинет, поставить по стойке „смирно“, и он будет стоять хоть два часа».

Как-то я спросил его, не трудно ли ему работать на столь важной должности. Ответ его я запомнил на всю жизнь: «Да нет, не трудно. В нашей работе главное – не искривить линию партии. А как ее искривишь?»

Он учился одинаково плохо по всем предметам, включая историю. Но наша учительница истории (она была моложе меня) ушла в декрет, а ее стала подменять другая, которая работала заведующей отделом народного образования в том же районе, где начальствовал Еременко.

Это была очень полная и очень глупая дама. Она свой собственный предмет знала не шибко и вместо всяких исторических фактов толкала нам политинформацию по вопросам текущей политики КПСС. Говорила, что международные империалисты задумали то-то и то-то, но это чревато для них самих. Империалисты угрожают нам атомным оружием, но это чревато для них самих. Империалисты хотят разрушить лагерь социализма, но это чревато для них самих.

Новая учительница на своей основной работе полностью от Еременко зависела и поэтому на уроках была к нему благосклонна. Она вызывала его к доске и спрашивала по такой схеме:

– Скажите, товарищ Еременко, когда произошел пятнадцатый съезд партии? Молчание.

– В одна тысяча девятьсот двадцать седьмом году. Правильно?

– Правильно, – отвечал Еременко. – В одна тысяча девятьсот двадцать седьмом году.

– Ну, что ж, – заключала учительница, – вы подготовились отлично, я ставлю вам пять. С ее приходом в нашу школу он воспрянул духом и даже слегка зазнался.

– Уж что-что, а историю я знаю, – говорил он мне.

Между учительницей и учеником установились довольно своеобразные отношения. Вечером она вызывала его к доске, а днем он вызывал ее к себе в кабинет и очень интересовался состоянием системы образования в подвластном ему районе. Обзор системы образования заканчивался маленькими просьбами со стороны учительницы, которые ученик охотно рассматривал. Он сам мне рассказывал, как она однажды, очень смущаясь, попросила выписать ей колхозного поросеночка. Он позвонил в какой-то колхоз, и в тот же день учительнице были доставлены на дом две огромных свиньи по рублю пятьдесят штука на старые деньги. То есть, по пятнадцать копеек на нынешние.

В конце концов, Еременко школу закончил и получил аттестат, в котором у него была пятерка по истории и выведенные с большой натяжкой тройки по всем остальным предметам, включая химию. Теперь перед ним открылся путь для дальнейшего, уже специального партийного, образования и продвижения по служебной лестнице. Вооруженный новыми знаниями, он мог смело руководить свиноводством, овцеводством или искусством. Несколько лет спустя я узнал, что Еременко повышен в должности и переведен в обком КПСС, где руководит промышленностью. Всякой промышленностью, в том числе, разумеется, и химической.

БЕСПЛАТНО

Бесплатное образование

Советских людей, выезжающих по каким-то надобностям за рубеж, учат остерегаться провокационных вопросов и находчиво на них отвечать. Проявлять находчивость иногда очень трудно, потому что какой вопрос ни возьми, все – провокация. Жилищные условия, зарплата, продукты питания, права человека, диссиденты, Сахаров, Афганистан. От ответов на эти вопросы следует уклоняться или противопоставлять им утверждения о преимуществах социалистического строя, среди которых – бесплатное образование, бесплатная медицина и почти бесплатные квартиры. Уж эти-то утверждения кажутся настолько бесспорными, что мне во время моих лекций на Западе студенты, симпатизирующие Советскому Союзу, часто и не без ехидства задают один и тот же вопрос: «Скажите, а сколько вам стоило ваше образование?» На что я охотно отвечаю, что оно мне ничего не стоило, потому что я его не получил. Мои родители, интеллигентные и уважающие образование люди, элементарно не могли меня прокормить и поэтому уже в раннем детстве я, как и миллионы моих сверстников, вынужден был бросить школу и пойти работать ради куска хлеба. В нормальной школе я окончил всего один класс – первый. Во втором и третьем я не учился. Четвертый кончил, работая в колхозе. Пятый пропустил. В шестом и седьмом учился вечерами, после восьмичасового рабочего дня. Затем я был призван на четыре года в армию, где учиться не разрешали ни вечером, ни заочно. На все мои обращения по этому поводу к начальству я получал один и тот же ответ; «Вы сюда пришли родину защищать, а не учиться». После армии, работая, я окончил десятый класс (восьмой и девятый пропустил), учился полтора года в пединституте, но ушел из него по той же причине – вынужден был зарабатывать деньги на жизнь.

Я принадлежу к поколению, детские годы которого пришлось на войну. Сейчас, конечно, полегче, и среднее образование молодые люди как правило получают. Но дать им высшее образование далеко не всем родителям по карману.

Образование бесплатное, но еда, одежда, портфели, учебники стоят денег. Школьной подготовки для поступления в более или менее приличный институт недостаточно, и родители вынуждены нанимать своим детям репетиторов. Репетиторы берут за уроки до десяти рублей в час, а не каждый родитель зарабатывает и пять рублей в день (Здесь и ниже цены, естественно, 70-х годов).

Есть много институтов, куда нельзя поступить без взятки, а это сразу несколько сот рублей.

Кроме материальных причин, есть другие, специфические. В некоторые высшие учебные заведения (например, МГУ) евреев практически не принимают. В некоторые (например, институт международных отношений) вообще могут поступить только дети партийных бюрократов, дипломатов, высших военных и кагебешников.

Официальное отношение властей к образованию – презрительное. Это презрение пропаганда воспитывает и в школьниках. Советская печать полна негодующих статей и фельетонов о молодых людях, которые, вместо того, чтобы сразу идти к станку или в коровник, стремятся в институты и университеты. Законы ставят перед выпускником школы препятствие в виде почти обязательного двухгодичного трудового стажа. Отработав два года на заводе или в колхозе, или прослужив в армии, бывший школьник забывает, чему его учили, и часто вообще теряет интерес к продолжению образования, тем более, что ничего хорошего оно ему не сулит: зарплата рядового инженера, врача, бухгалтера или учителя гораздо ниже, чем заработок квалифицированного рабочего.

Конечно, даже несмотря на все эти препятствия, некоторые дети простых и малообеспеченных родителей тоже получают высшее образование, но для этого им надо проявить очень большие способности, очень сильную тягу к знаниям и готовность к самопожертвованию. Пять лет в институте они ходят полуголодные и полураздетые, подрабатывая на жизнь разгрузкой вагонов или переборкой гнилых овощей на базах. И только такой ценой получают высшее образование, которым потом их всю жизнь попрекают и требуют благодарности.

Бесплатная медицина

Каждый советский человек, заболев, может пойти в поликлинику, может вызвать врача на дом, может вызвать скорую помощь, это ему ничего не стоит. Если попадет в больницу, ему счета за лечение потом не пришлют. Но...

В 70-м году ко мне в Москву приехала из провинции моя мать. Выглядела она ужасно: худая, желтая, слабая. Я спросил, что случилось. Она сама не знала что. Боли в желудке, полная потеря аппетита, вес неудержимо падает.

А что говорят врачи? А врачи ей говорят, что у нее весенний авитаминоз, прописали какие-то витамины и сказали: «Ешьте для поднятия аппетита селедочку».

Я, конечно, в медицине не очень сведущ. Но я жил в Москве, был членом Союза писателей, у меня было много самых разнообразных, в том числе и медицинских, связей, иначе говоря, блата. Мне удалось устроить мать в Боткинскую больницу. Там ей сделали рентген и сразу же увидели то, чего не увидеть было нельзя, – огромную опухоль в желудке. Опухоль, к счастью, оказалась доброкачественной. Мать прооперировали. Она прожила еще восемь лет и умерла от сердечной недостаточности. А если бы у нее не было сына в Москве?

Допустим, это случайность. В провинции попался плохой, недостаточно квалифицированный или недобросовестный врач, а вообще это нетипично. Но через два года с моим отцом случилось то же самое. За эти два года мои родители переехали из одного города в другой. И там у отца появились боли в районе шеи, с правой стороны. И небольшая опухоль. Врач посмотрел и сказал: лимфоаденит – и прописал прогревание. Отца прогревали, опухоль росла, боли усиливались, трудно стало глотать, а его все прогревали и прогревали. Наконец отец по настоянию матери и сестры приехал в Москву. Первый же врач, который его посмотрел, сказал: рак. Потом его смотрели другие врачи, делали рентген, брали биопсию. И установили окончательный диагноз: рак корня языка четвертой стадии. То есть последней. Надо было устраивать отца в больницу. Пользуясь всеми возможными знакомствами, я нашел, как говорится, ход на Каширку, так в просторечье называют известный московский онкологический центр. Это целый больничный город с огромными корпусами, выглядит (тут уж ничего не поделаешь) пугающе и производит впечатление фабрики смерти. Приехали мы туда, пошли к какой-то даме-профессору с запиской от другого профессора. Дама послала нас к мужчине-профессору. Тот предложил записаться и сдать анализы. Записались, сдали анализы, взяли у отца опять биопсию, вызывают меня в какой-то кабинет. Там очередь. Люди заходят по одному или по два, выходят в слезах, иногда с воплями. Ко мне подошел какой-то человек со значком заслуженного мастера спорта. Стал жаловаться. Он приехал из Ташкента, где его отказались лечить, у него вся надежда была на эту Каширку, а здесь не берут. Ни в какую. «Когда я был им нужен, – сказал он, – тогда меня от насморка лечили лучшие профессора. А теперь я не нужен. А что вы думаете, – спросил он меня, – если я упаду на улице, должна же меня скорая помощь доставить в больницу?» Я не знал, что ему сказать, хотя тоже думал, что должна.

Подошла моя очередь. Я оставил отца в коридоре и вошел в кабинет. Врач говорил со мной торопливо. «У вашего отца, – сказал он, – рак в запущенном состоянии. Он неизлечим. Ему жить осталось месяца три-четыре от силы. Вы должны подготовиться, эти месяцы будут очень тяжелыми и мучительными. Мы его взять не можем. Безнадежных мы не берем. Лечить их бесполезно, а статистику они портят».

«Но что же делать? – спросил я. – Надо же его все-таки как-то лечить». Врач мне сказал, что я могу попытаться устроить отца в больницу в городе, где он живет, но и там его вряд ли возьмут. Затем он выписал бумагу, в которой было написано: «Нуждается в симптоматическом лечении по месту жительства».

Мы с женой обошли несколько московских больниц, употребили все связи, подняли на ноги всех друзей и знакомых. В конце концов нашли одного врача, который работал в загородной больнице. К счастью, он оказался моим читателем и взял отца на лечение. Отца стали облучать, но не кварцевыми лучами, а радиоактивными. И произошло чудо. Опухоль стала исчезать. Через три недели отец был выписан из больницы под наблюдение врачей.

Через три года у него был рецидив болезни. Мой знакомый врач был в отпуске. Поэтому мы обошли опять несколько больниц, начиная с той же Каширки, и опять отца никуда не брали. Даже несмотря на наши сообщения о первом результате лечения. Пришлось дожидаться, когда наш знакомый вернется из отпуска. Отец прошел второй курс облучения. После чего прожил еще пятнадцать лет и умер не от рака.

Лечение бесплатное, поэтому каждого человека им попрекают. А если пенсионер, если отработал и уже государству не нужен, то и насчет лечения государство уже не очень-то беспокоится.

Мой дядя жил в областном городе на Украине. Когда ему стало плохо, родственники позвонили в «Скорую помощь». Там спросили, а сколько ему лет. – Семьдесят. – Мы к таким не ездим, – сказали в «Скорой помощи». Правда, после устроенного им скандала, приехали, но было уже поздно.

А вот бабушке моей повезло. Когда ей перевалило да девяносто, врачи стали уделять ей внимание. Участковый врач ей сказала: «Вы уж, пожалуйста, не болейте, а если что, вызывайте, я сразу приду. Вы у нас теперь долгожительница, вы мне нужны для статистики». Медицина бесплатная, но лекарств – нет. Некоторые из них стоят очень и очень дорого.

А на сколько-нибудь серьезную операцию бедному человеку лучше вообще не ложиться. Под подушкой надо всегда иметь размянанные рубли. Человек только что от наркоза очнулся, лезет под подушку и протягивает нянечке рубль. Губы смочить – рубль, простыню поправить – рубль, судно принести – рубль.

А в иных больницах, где персонал избалован, и трешку. Иначе никто не подойдет, и человек, перенесший сложнейшую операцию, может не перенести послеоперационного ухода.

Подавляющее большинство врачей ограничивается мизерной зарплатой и мелкими подачками от больных (например, бутылкой коньяка за серьезную операцию). Не только государство, но и пациенты труд врача оценивают крайне низко. Полупьяный автомеханик, чиня мою машину, рассказал, что его отец тяжело болен, лежит в больнице, предстоит операция, но врачи на успех ее не надеются. Автомеханик говорил с хирургом и узнал, что тому нужно починить «Запорожец» – сломалось сцепление. Не сомневаясь в своей широте, механик сказал хирургу так: «Вот вылечишь отца, я тебе сцепление поставлю по госцене».

Некоторые врачи, видя всеобщую коррупцию, взяточничество и воровство, тоже не хотят жить как нищие и начинают брать взятки. Одни берут умеренно, но появились неумеренные и даже очень. Я знаю одного профессора, который в государственной больнице за операцию меньше пятисот рублей не берет. И никаких страховок против таких разбойников у советского человека нет.

Так что медицина в Советском Союзе бесплатная, но доступна не каждому.

Почти бесплатные квартиры

То, что квартиры в Советском Союзе стоят дешево, это всем известно. Квартплата мизерная и чуть ли за всю историю советской власти ни разу не поднималась.

Но что это за квартиры и стоят ли они больше того, чем берет за них государство?

Сейчас, конечно, с жильем стало лучше. С середины 50-х годов государство стало проявлять реальную заботу о решении так называемого жилищного кризиса. Теперь в Москве большинство моих знакомых живут в отдельных благоустроенных квартирах со всеми удобствами. А вот когда-то... Впрочем, расскажу по порядку.

Я приехал в Москву в 56-м году. Я писал стихи и надеялся, что в Москве мне легче удастся их напечатать, чем в провинции. Но что значит в Советском Союзе приехать в Москву? Надо же где-то остановиться, где-то жить. А с пропиской в Москве и вообще – трудно. Люди, чтобы прописаться, к каким только ухищрениям ни прибегают. И взятки дают, и женятся фиктивно. А мне взятку давать было не из чего и жениться фиктивно не на ком, потому что за фикцию эту тоже деньги надо платить и немалые. Но у меня зато другой козырь был: мои рабочие специальности. С ними я на стройку плотником или слесарем устроиться мог бы. Но оказывается, не тут-то было. Как раз перед моим приездом Хрущев выступил с панической речью, что Москва перенаселяется, народу слишком много в нее приезжает и правдами-неправдами в ней остается. И надо от дальнейшего нашествия ее как-нибудь оградить. Правила прописки и раньше были строгие, а тут и совсем зверские стали. Стал я ходить от одного отдела кадров к другому. Прихожу: «Вам плотник или слесарь нужен?» Конечно же, нужен. Любой начальник отдела кадров меня готов, как брата родного, обнять. Но он же знает, что неспроста я пришел, не с чистыми намерениями. И спрашивает: «А прописка у вас московская есть?» А у меня вот уж чего нет, того нет. Ну и до свиданья. А в милицию пойдешь, там и вовсе волком смотрят. Справки с места работы нет? Нет. Ну и катись отсюда. Ну и качусь.

Жил я тогда в помещении довольно обширном. Несколько тысяч квадратных метров. Я имею в виду Курский вокзал. И между прочим, за жилье это не платил ни одной копейки. Правда, были некоторые неудобства. Народу много, скамейки заняты. Пристроишься где-нибудь под стенкой на гранитном полу, только заснешь, милиционер будит и на улицу вытаскивает – без билета здесь спать нельзя. Когда дождя нет, уйдешь куда-нибудь в скверик, чтобы на скамейке ночь провести, но и со скамейки гонят.

Промаялся я так несколько суток и вдруг однажды смотрю, объявление: "Принимаются рабочие для работы на железной дороге. Одинокие и семейные обеспечиваются общежитием. Прописка не обязательна. "Адрес-станция Панки, ПМС – путевая машинная станция, значит.

Через полчаса я был на этой самой ПМС, а через час уже числился там рабочим. Прописывали там немосквичей, потому что ПМС вообще-то числилась в Рязанской области, а под Москвой была вся целиком в командировке.

Но я не об этом. Я о жилье. Оно было очень дешевое. На нынешние деньги копеек может быть семьдесят. Но что за жилье?

Все, кто работал на станции, жили в вагончиках. Рабочие в теплушках, начальство – в пассажирских, старого, впрочем, может быть, даже дореволюционного образца. Начальство было в общем-то небольшое. Наши вагончики были разделены пополам. В каждой половине четырехместное купе с двухъярусными полками и кухня, в которой не было ничего, кроме дровяной печки. «Удобства» – все за углом. На этом предприятии была большая текучка кадров. И я тоже оказался кадром очень текучим. Но начальство с этой текучкой боролось и, желая привязать к себе рабочих надолго, обеспечивало жильем не только одиноких, но и

семейных – и браки всячески поощряло. А жилье их, этих семейных, были те же полвагона. Я очень хорошо помню эти семейные жилища. Они отличались от наших тем, что были поаккуратнее. Занавесочки висели, герань на окошке цвела. Пеленками пахло. А теснота хуже, чем у нас, у каждого из нас всего-то имущества было по чемодану на брата, да и те в камере хранения. А семейные люди норовят обзавестись лишним: шкаф какой-никакой иметь, люльку для ребенка, а еще всякие тазы, кастрюли. Но поставить все это было негде. Поэтому и семейные жили без мебели, украшая свои жилища занавесками да дешевыми ковриками деревенского производства. С лебедями и пышногрудыми красавицами. Но и это жилье для некоторых было пределом мечтаний.

Я помню, у нас одна девушка очень хотела замуж. И вот во время перекуров она подсаживалась к кому-нибудь из нас, холостых парней, и заводила разговор о том, как трудно молодому мужчине жить одному, самому за собой ухаживать, самому стирать и готовить. А потом, заглядывая в глаза, улыбалась и вздыхала мечтательно: «А женатым-то полвагона дают!»

Я в этой железнодорожной организации проработал недолго. Москве нужны были строительные рабочие, и для них правила прописки вскоре были облегчены. Я перебрался в Москву и жил в общежитии. Общежитие было неплохое. Большие, по 32 квадратных метра, комнаты на восемь человек. Просторная кухня, газ, цивилизованные туалеты. Правда, горячей воды, а тем более ванной или душа не было. Но все-таки условия были вполне приличными.

Здесь начальство не только не поощряло браки между рабочими, но, напротив, всячески им препятствовало. Борьба начиналась загодя. Наши воспитательницы, две здоровые и физически развитые тетки, бегали по этажам и вокруг дома, вылавливали влюбленные пары в коридорах, на лестницах, в кустах, а некоторых вытаскивали и из постелей. Кричали на них, позорили их на собраниях и в стенгазете. Но все-таки инстинкт брал свое, и воспитательницы за всеми его проявлениями уследить не могла. Девушки и парни вступали чаще всего во временные отношения, но иногда и женились. Муж обычно поселялся у жены. Жилплощадь новой семьи ограничивалась размерами кровати. Эту кровать молодые отгораживали от остальной части комнаты простынями. Воспитательницы, а иногда и начальство врывались в эти комнаты, стаскивали простыни, скандалили, гнали мужей прочь. Когда молодые спрашивали, а что же им делать, начальство отвечало: «Что хотите, то и делайте. Не надо было жениться».

Надо было или не надо, но люди все же женились, производили на свет детей. Начальство в конце концов сдалось и образцовое холостяцкое общежитие переоборудовало в так называемое семейное общежитие. Комнаты были поделены пополам. В каждую шестнадцатиметровую половину вселяли по две семьи. Одна семья у окна, другая в проходной половине – у дверей. Отгораживались друг от друга теми же самыми простынями. И так, попутно размножаясь, жили годами.

Я в то время посещал литературное объединение, познакомился со многими москвичами-литераторами, ходил к ним в гости читать свои стихи и слушать чужие. И почти все мои новые знакомые, большинство которых родилось и выросло в Москве, жили в коммунальных квартирах. По две, по три, по четыре семьи в одной квартире, а то и побольше. Я первый раз получил комнату в квартире с коридорной системой. В нашей квартире жили двадцать пять семей. С одной кухней, с одной уборной на всех. Ну, какая там была жизнь, какие скандалы внутри комнат между членами семьи и на кухне между соседями, описывать не буду. Всем жителям советских городов "это все хорошо знакомо. Эти кошмарные жилищные условия, в которых существовало подавляющее большинство городского населения страны, объяснялись не только объективными трудностями, но и полным равнодушием властей. А еще и тем, что жильцов общей квартиры гораздо легче контролировать. Кто варит

самогон, кто рассказывает политические анекдоты, – все известно. Если не ответственный квартиросъемщик, то кто-нибудь другой непременно был стукачом.

Последнее время с жильем стало легче. Вот уже лет двадцать пять, как власти решают жилищный кризис. Построено много домов. Миллионы семей получили отдельные квартиры. Другие миллионы, впрочем, доживают свой срок в общих квартирах. Очереди на отдельную квартиру дождаться не могут, а в кооператив вступить не на что. Потому что кооперативные квартиры стоят не так уж дешево и не всякому по карману. Например, моя двухкомнатная квартира стоила семь тысяч рублей. Я ее купил, потому что одно время получал довольно приличные гонорары. А рядовому рабочему, учителю или врачу где взять такие деньги?

Конечно, в отдельной квартире жить намного лучше, чем в коммунальной. Но и отдельные, как правило, довольно-таки скромны. В Москве норма на человека – 9 квадратных метров, и райисполкомы следят, как бы кто не получил лишнего. Значит, семья из трех человек редко имеет квартиру больше двух комнат. Большинство советских квартир – одно-, двух-, трехкомнатные. Я знал одну семью, у них было четыре комнаты, но семья состояла из тринадцати человек.

Такие понятия, как гостиная, столовая, спальня, детская, в языке советских людей практически отсутствуют. У некоторых людей есть отдельные дома. Но они уж и вовсе не всякому по карману. Дом может стоить и десять, и двадцать, и тридцать, и триста тысяч рублей. А такие деньги водятся только у самых поощряемых властью писателей, академиков, у директоров магазинов, ресторанов и у воротил подпольного бизнеса.

Но у рядового советского человека, который не ворует, не спекулирует и живет на одну зарплату, таких денег нет.

Потому что труд в Советском Союзе – тоже почти бесплатный.

ДВС

Конечно, главные принципы в нашей советской жизни – свобода, равенство и братство. Этому каждому известно. А если кто забудет – может выйти на улицу и сразу обязательно вспомнит, потому что сейчас же где-нибудь неподалеку будет висеть большой такой транспарант, и на нем будет написано большими буквами: свобода, например, или равенство, или братство. Так что даже если хочешь забыть, то тебе об этом напомнят.

А все-таки случаются еще иногда в нашей повседневной жизни отдельные случаи проявления неравенства, что вызывает, конечно, нарекания со стороны трудящихся масс. Некоторые даже проявляют недовольство, брюзжат, создавая вокруг себя нездоровые настроения. Почему, мол, одному то-то и то-то, а другому ни того, ни того. Но при этом не понимают, что у нас еще полного коммунизма нет, а есть только социализм. А при социализме, как известно, никакой уравниловки нет и быть не должно. От каждого по способности, каждому по чину. Это еще Маркс сказал. Или Ленин. А может, я и сам так придумал, я уже точно сейчас не помню. Во всяком случае, привилегии – это дело хорошее. Конечно, для тех, у кого они есть. Но тоже я бы сказал – дело хорошее, но не всегда. На почве разницы в этих привилегиях иногда такие неприятности случаются, что иной раз задумаешься, может, этих привилегий лучше и совсем не иметь. Ну вот хотя бы такой случай.

Один большой, очень большой писатель из одной не очень большой азиатской или, может, кавказской даже республики приехал однажды в Москву по делам. Само собой привез подарки всякие своим московским братьям по перу и всему другому. Братья его – люди важные. Один – секретарь Союза писателей, другой – главный редактор журнала, третий – директор издательства, четвертый – в Комитете по ленинским премиям шишка. И каждому же надо привезти сувенир, что-нибудь такое из местных народных промыслов, какой-нибудь, скажем, ковер, или блюдо серебряное, или еще нечто недорогое, рублей, скажем так, за пятьсот-семьсот. И, само собой, всякие сладости восточные, кишмиш, дыни, чурчхеллу или что-то подобное. Коньяку ящик тоже привез. Поскольку он был действительно большой писатель и даже чуть ли не основоположник своей национальной литературы, то поселился он, как всегда, в гостинице «Москва», куда, между прочим, кого попало не пустят. Как он там с братьями со своими встречался, кого сам посещал, кто к нему в гостиницу приходил, сейчас подробно описывать не буду. Скажу только, что много было выпито и много закусено, много было тостов всяких произнесено. И за дружбу народов, и за расцвет нашей многонациональной литературы, и за дорогого гостя, и за дорогих хозяев, так что того ящика коньяку, который он с собой привез, даже и не хватило, пришлось второй закупать уже здесь, на месте. И к тому времени, когда уже и второй ящик к концу подходил, до того наш герой допил и до того докушался, что однажды ночью стало ему нехорошо. Проснулся писатель среди ночи, чует в груди: бубух, бубух. А потом что-то ка-ак саданет, будто сердце шампуrom, как барана, проткнули. И чувствует писатель, что вроде он как-то бледнеет и как-то вроде слабеет, помирает, короче.

А был приезжий этот писатель хоть и большой, да глупый. И с большими людьми в Москве общаясь, многого еще в столичной жизни не освоил. Лежит он себе на кровати, одной рукой за сердце хватается, другой телефон к себе придвигает и дрожащим пальцем набирает 03.

Ну, это, как известно, наша «Скорая помощь», самая скорая в мире. Не успел писатель концы отдать, а она уже тут как тут.

Отворяется дверь, врывается в номер доктор с чемоданчиком, врывается санитар с ящиком, которым кардиограмму пишут, врывается другой санитар с носилками: две палки, а между ними парусина. И коридорная испуганно в дверь тоже заглядывает. Доктор, понятно,

спросил, на что больной жалуется, а тот даже не жалуется, только мычит и пальцем себя в левую сторону тычет. Доктор время терять не стал, кардиограмму сделал, давление смерил, пульс посчитал.

– Ну что? – спрашивает больной еле слышно и при этом волнуясь, конечно.

– А ничего, – говорит доктор. – Ничего определенного пока сказать не могу, но думаю, что у вас такой это небольшой обширный инфаркт. А больше совсем ничего.

Больной, слыша такие слова, глаза закатил и лежит, не дышит. Сердце дергается, больно, ноги холодеют, язык пересох, писатель волнуется, а волноваться ему как раз и нельзя.

– Да вы ничего, – говорит доктор, – вы, аксакал, не волнуйтесь, мы вас доставим в больницу, а для начала укольчик.

Достает из чемоданчика шприц со здоровенной иглой и иглу эту куда надо, то есть в мышцу, засаживает. А затем переваливает нашего писателя с дивана на носилки, дает знак санитарам, те носилки подхватывают и волокут их к дверям. А в это время двери эти распахиваются, и в номер врывается дежурный администратор и за ним опять коридорная. Как увидел администратор санитаров и доктора, встал перед ними, руки раскинув в стороны. «Кто, – говорит, – вы такие и куда его тащите?» Доктор вежливо объясняет, что они – "Скорая помощь", а тащут они больного вниз к машине для доставки к месту лечения.

Администратор говорит: «Я его выпустить не могу, ставь носилки обратно на пол». Доктор объясняет, что на пол носилки поставить не может, потому что больной срочно нуждается в помощи.

Администратор говорит: «Нуждается не нуждается, не вашего ума дело, а я товарища выпустить не могу, поскольку он – ДВС».

– Дэвэ кто? – переспрашивает доктор.

– Дэвээс, – повторяет администратор и объясняет доктору, который ничего не понял, что ДВС – это значит депутат Верховного Совета.

Доктор говорит, я не знаю, ДВС он или ДОСААФ, меня это не касается, для меня все люди равны, и ссылается на клятву Гиппократу, которую он, между прочим, не давал, потому что у наших врачей своя есть клятва, советская.

Администратору, само собой, на Гиппократу этого с высокого дерева наплевать и на его клятву тоже.

Врач в конце концов сдается и звонит в Центральную, сообщает, что администрация гостиницы препятствует исполнению врачебного долга. Центральная сначала думает, а потом говорит: черт с ним, с администратором если больного не отдает, пусть даст расписку, что за возможные фатальные последствия он берет ответственность на себя. Администратор расписки не дает больного не выпускает и сам звонит по какому-то номеру. – Пришлите, – говорит, – карету специальной скорой помощи, у меня тут ДВС загибается.

Время идет, больной лежит, администратор сидит, врач стоит, коридорная смотрит в окно, санитары вышли в коридор покурить.

Часу не прошло, врывается еще один врач, кремлевский, с медсестрой и четырьмя санитарями. Носилки, между прочим, уже не брезентовые, а кожаные.

Пошептался кремлевский врач с приехавшим ранее, выяснил, какие меры были приняты, вкатил еще один шприц больному и приказал санитарам перевалить его с парусины на кожу.

Администратор помягчал, выдал ранее приехавшему справку, что в его помощи никакой необходимости нет, и тот со своими санитарями и носилками отправился к лифту.

А вновь приехавший врач придвинул к себе телефон и звонит в свою центральную, – в какой из филиалов кремлевской больницы доставить больного?

Те спрашивают, а как его фамилия. Врач спрашивает у администратора, администратор отвечает врачу, тот отвечает Центральной. Потом небольшое молчание, потом врач говорит: «Понятно», потом поднимается и администратору холодно так замечает: «Что вы глупости говорите, городите, что вы панику поднимаете и занятых людей в заблуждение вводите, когда больной ваш вовсе не ДВС, в списках ДВС его фамилии нету».

Администратор слегка бледнеет, смотрит вопросительно на больного, тот слегка очухивается и произносит слабым голосом: «Давай сыр!»

Кремлевский врач слегка рассердился, какой, говорит, тебе сыр, когда тебе о Боге пора подумать. И обращается к администратору: «Где там ваш врач для простых людей, пусть он этого больного теперь себе берет, а нам с ним возиться некогда».

Администратор посылает коридорную за простым врачом, та вниз по лестнице летит быстрее скоростного лифта. Перехватывает доктора на самом выходе, загораживает дорогу. «Вертайтесь, – говорит, – обратно, поскольку больной оказался не ДВС». Доктор отказывается, потому что ему это дело надоело, справка от администратора у него есть, а клятву Гиппократа он не давал.

Но коридорная подзывает швейцара, и вдвоем они доктора кое-как уговаривают, обещая ему и санитарам по полкило охотничьих сосисок из ночного буфета.

Доктор и санитары возвращаются в номер и опять перекалывают больного с кожи на парусину. А тот уже совсем плох, глаза закачены, щеки серые, губы синие, изо рта пена идет коричневая, коньяком пахнет. Больной сучит ногами и хрипит, и слова все те же выхрипывает: «Давай сыр! Давай сыр!»

– Что это он говорит? – спрашивает обыкновенный врач необыкновенного. – Какой еще сыр? При чем тут сыр?

– Восточный человек, – говорит врач необыкновенный. – Привык есть сыр. Без сыра и помирать не желает.

– Постойте, – говорит администратор обоим врачам. – Он, может быть, не просто сыр говорит, а про что-то другое. Наклоняется к больному и спрашивает его как – то непонятно: «Дэвэсээр?»

– Дывысыр, дывысыр, – хрипит больной, соглашаясь.

– Ну, вот видите, – говорит администратор кремлевскому доктору. – Я же вам говорил. Он депутат верховного совета республики. Не ДВС, а ДВСП. Кладите его обратно. – И сам хватает больного за ноги, чтобы перетащить с парусиновых носилок на кожаные.

– Стоп! Стоп! Стоп! – говорит кремлевский доктор, отрывая администратора от больного. – Мы перевозим только депутатов Верховного Совета СССР, а для давайсыров другая «Скорая» есть.

В это время обыкновенный доктор кивнул своим санитарам, и они вместе с парусиновыми носилками и с ящиком, которым кардиограммы делают, не дождавшись обещанных ночных сосисок, сбегают.

А больной уже и вовсе глаза закрыл, не хрипит и не дергается. Дергается администратор, понимая, что больной – депутат хоть и не СССР, а республики, – а отвечать и за него придется. И требует администратор от кремлевского доктора, чтобы тот вез больного куда хочет, лишь бы – из гостиницы. А доктор, поупивавшись, звонит снова в свою центральную и говорит: так и так. Те сначала с кем-то связались, с каким-то ночным начальником этот вопрос согласовали, проявили гуманность и говорят; хорошо, в порядке исключения, разрешаем использовать перевозку для дэвэсээр.

Так что в конце концов писателя вытащили наружу и повезли в Кунцево. Если бы был он ДВС, может, его успели бы довести. Если бы был простой человек – тем более. А он был ни то, ни се. Так что привилегии дело, конечно, хорошее, но иногда лучше без них.

Это что за раздолбай?

Утверждение, что в Советском Союзе нарушаются права человека, не совсем правильно, потому что нельзя нарушать то, чего нет.

Все провозглашенные советской конституцией права и свободы являются фикцией. Право на труд на самом деле является обязанностью. Человек, уклоняющийся от так называемого общественно-полезного труда, то есть от работы в колхозе, на заводе, в государственном учреждении, подлежит уголовному наказанию «с обязательным привлечением к труду». Закон о тунеядцах власти самым циничным образом используют против инакомыслящих. Их лишают работы, а потом судят за то, что они не работают. В лагерях их калечат непосильной работой, а в местах ссылки они тоже не имеют право, а обязаны заниматься неквалифицированным трудом (физик с мировым именем Юрий Орлов работает сторожем, а математик Татьяна Великанова банщицей).

В конституции записано, что каждый человек, достигший определенного возраста, имеет право выбирать и быть избранным. Но избирают только тех, кого назначает партия. А право выбирать также является обязанностью. Ежегодно советские люди участвуют в «выборах» в верховные или в местные органы власти. Их участие состоит в том, что человек идет на избирательный участок, берет бюллетень, в котором указана только одна фамилия, и опускает его в урну. На избирательных участках стоят, правда, задернутые шторами кабинки для «тайного» голосования, куда человек может зайти, вычеркнуть эту одну фамилию, написать другую или неприличное слово, но даже сам по себе заход в эту кабинку будет кем-нибудь отмечен, и в досье совершившего этот «антиобщественный» поступок гражданина появится соответствующая отметка. Всякое уклонение от осуществления этого «права» будет также отмечено и учтено при распределении премий, квартир, путевок в Дом отдыха и, без всякого сомнения, при решении вопроса о заграничной поездке. Вся эта процедура, называемая выборами, может показаться совершенно бессмысленной: 99 % граждан выбирают не четверть, не половину, а все 100 % назначенных партией кандидатов. На самом деле она вовсе не бессмысленна: она является регулярно проводимой всеобщей проверкой готовности советских граждан играть в эту игру, проверкой их лояльности.

То же происходит со всеми провозглашенными свободами: печати, собраний, демонстраций и т. д. Действительно свободные собрания и демонстрации наказуемы как уголовные преступления, а на собрания и демонстрации, организованные властями, людей гонят насильно. Уклонение рассматривается как проявление нелояльное.

Говоря о нарушении прав человека, мы имеем в виду обычно религиозные, национальные, социальные группы, мы говорим, что нарушаются права верующих, рабочих, писателей. Это тоже неправильно. В Советском Союзе есть много людей, обладающих теми или иными привилегиями, но бесправны все, включая самых высших советских руководителей. Я бы даже сказал, что высшие руководители в некотором смысле еще бесправнее рядовых советских граждан. Они не только обязаны неукоснительно соблюдать все правила и ритуалы, принятые в их среде, не только живут в постоянном страхе друг перед другом, но и от самих привилегий отказаться не могут. Если даже представить себе, что высший партийный чиновник вдруг захотел отказаться от пользования распределителем, можно не сомневаться, что этот жест будет воспринят как протест против существующей системы и чиновник наверняка потеряет свой пост. А потеряв его, он сразу становится никем. Расскажу такую историю.

Станция метро «Аэропорт», возле которой я жил последние свои годы в Москве, находится на Ленинградском проспекте. По этому проспекту я часто гулял. Однажды шел я по одной стороне проспекта, а затем решил перейти на другую. Приблизился к перекрестку,

вижу, посреди милиционер знакомый стоит. (Я его часто встречал, гуляя). В зубах сигарету держит, в руке – палку. На плече – приемник-передатчик «волки-толки» висит. Приближаюсь я к милиционеру, собираюсь с ним поздороваться, вдруг замечаю, что с ним происходит метаморфоза. Прикладывает он свои «волки-толки» к правому уху, потом бросает, сигарету изо рта выплевывает, вставляет вместо нее свисток и свистит как полоумный. Тем, которые еще не выехали на шоссе, чтобы не выезжали, а тем, которые уже там, чтобы свернули в сторону. Палкой машет, и кулаком грозит, и в свисток свистит. А затем слышу приближающийся воющий звук: УУУ-У-У!

И вот несется кавалькада. Впереди немецкая БВМ канареечного цвета, за ней черная «Волга», за ней длинный и черный «Зил», за ним еще такой же с кузовом универсал, реанимационный, за ним еще «Чайка» и две «Волги» – все черные. Сирена воеет, шины шуршат, мигалки мигают, а канареечная машина вылаивает:

– Граждане, воздержитесь от перехода! Водители, освободите проезжую часть.

Милиционер отскочил в сторону, вытянулся, руку к виску прилепил, пожирает глазами машины, а они летят, как снаряды, километров 150 в час, не меньше, одна за другой.

Наконец милиционер расслабился, за сигаретами полез, перекресток оглядывает и меня видит: «А, привет», – говорит.

– Кто, – спрашиваю, – проехал? Не Брежнев ли?

– Да нет, – говорит, – не Брежнев, а Кириленко. Сам-то я его не видел, за занавесками разве углядишь?

Оказалось, у него спички кончились. Я ему дал прикурить, он сигаретой к огню тянется, а рука дрожит.

– Чего, – спрашиваю, – ты так волнуешься? Первый раз, что ли, у тебя тут такой переполох?

– Первый не первый, – говорит, – а каждый раз страшно. У нас тут один стоял тоже, пуговицу забыл застегнуть. Так этот, который за занавесками там был, на скорости 150 километров в час – углядел. Машины еще из виду не скрылись, а на столе у начальника городского ГАИ уже вертушка звонит: «Что это за раздолбай у тебя там стоит напротив „Динамо“?»

А начальник городского ГАИ не спрашивает, в чем дело, почему раздолбай. Он боится. Он начальнику нашего отделения сразу звонит и спрашивает тоже: "Что там у тебя за раздолбай стоит напротив «Динамо»? И хорошо еще, что начальник наш ничего мужик оказался. Он этого, которого раздолбаем назвали, с Ленинградского проспекта на Масловку перевел, чтоб глаза не мозолил. А мог бы и премии лишить, и звание задержать, и пойдти жалуйся кому хочешь. Какие у милиционера права? Вот у него, который за занавесками, у него права...

Это милиционер так думал. И в самом деле. Кто он, этот милиционер? Никто. А Кириленко?

Когда я жил в Москве, Кириленко был еще на вершине власти. Он занимал в партии второй пост после Брежнева. И когда Брежнев ездил за границу или принимал лечебные процедуры, Кириленко вел заседания Политбюро и вообще управлял государством. И пока находился он на своем высоком посту, пока ездил на нескольких машинах, чего у него только не было. И квартиры, и дачи с отгороженными от людей лесами, полями, реками и километрами морских побережий. Как-то был я в Сочи и увидел там на причале корабль. Не то крейсер, не то эсминец, я в этом не очень разбираюсь. Помню только, что корабль был военный, пушки из него и пулеметы торчали, и местные жители мне сказали, что это прогулочный корабль Кириленко. Он когда сюда приезжает, на этом корабле в море выходит. Но приезжал Кириленко редко, а матросы драили палубу часто. Вдруг хозяин приедет да захочет проветриться. Короче говоря, важный был человек Кириленко, не нам с вами чета.

А вообще, я о Кириленко об этом и не вспомнил бы, если бы не случай один. Фатальный, между прочим, случай. Я имею в виду тот случай, когда Брежнев скончался. А я его

похороны смотрел в Америке по телевизору. Смотрел, как везли его на лафете, как прусским гусиным шагом вышагивали наши советские солдаты. А за лафетом процессия: члены Политбюро, кандидаты в члены Политбюро, секретари ЦК, маршалы, вдова, дети, родственники, прихлебатели, кагебешники. И вдруг в толпе этой, смотрю, бочком, робко передвигается странный какой-то человек, который вроде и участвует в этой процессии, и в то же время как будто он здесь совсем чужой. Одет, правда, неплохо. Зимнее пальто, каракулевый воротник, папаха тоже каракулевая. По виду и повадкам похож на председателя колхоза, который из глубокой провинции приехал хоронить именитого родственника. «Что еще за раздолбай?» – думаю.

А потом пригляделся: да это же совсем не раздолбай, а лично товарищ Андрей Павлович Кириленко.

Я даже глазам своим не поверил. Как это, второй человек в государстве, а идет так демократично, не в первых рядах и не в задних, идет как бы вместе со всеми и отделенный от всех незримой чертой, как прокаженный.

Тут, правда, все и разъяснилось: телевизионный комментатор подтвердил мою догадку, что Кириленко месяц или два тому назад на чем-то погорел и места своего в Политбюро лишился.

И стало мне интересно, о чем думает сейчас товарищ Кириленко, какие антисоветские мысли роятся под его папахой. Ведь не может же он не чувствовать себя оскорбленным! Ведь пятьдесят лет служил партии и за страх, и за совесть, сорок пять лет на руководящей работе, двадцать с лишним лет заседал в Политбюро, а по праздникам стоял рядом с Леонидом Ильичей на трибуне Мавзолея и милостиво приветствовал ликующие толпы демонстрантов, над головами которых покачивались бесчисленные его портреты. Эти самые люди, которые идут сейчас рядом с ним в похоронной процессии, встречали его появление аплодисментами, льстивыми улыбками, сломя голову кидались выполнять любое его желание. А теперь они его не замечают, и даже тот, который зонтик над его головой держал, теперь от товарища Кириленко морду воротит. Ну, не обидно ли? А родственникам его каково?

Умри он, скажем, вовремя. И его бы сюда привезли на лафете. И над ним бы речи произносили печальные. И родственникам было бы приятно получать потом персональные пенсии. А теперь ему-то, конечно, персональная, а им шиш. Потому что они теперь родственники не выдающегося деятеля партии и правительства, а всего лишь – персонального пенсионера.

Я бы покривил душой, если бы сказал, что судьба Кириленко или его родственников меня как-то особенно заботит. Заботит меня другое: почему в этой стране даже ее руководители не имеют никаких прав? Теперь, конечно, не то, что раньше, раньше таких-то просто отстреливали. А теперь им дожить дают, но в забвении и позоре.

«Не место красит человека, а человек место», – гласит русская народная мудрость. Но как же неприменимо это к сегодняшней советской жизни. Сегодня – вообще никто ничего не красит. Не о том речь. Важно только место – за занавесками, в несущейся и пугающей народ кавалькаде, на трибуне Мавзолея и, наконец, в кремлевской стене...

Очень хорошо понимают это и сами руководящие работники. Рассказывали мне про другого члена Политбюро, товарища Полянского Дмитрия Степановича. Приехал к нему однажды друг из Краснодара, может, они в ВПШ вместе учились, а может, какие другие подвиги в своей комсомольской юности совершали, этого мне, правда, не сказали, но приехал он к своему преуспевшему товарищу, пришел на квартиру с подарками, а хозяина дома нет. Жена говорит: "Митя выступает сейчас перед коллективом фабрики «Трехгорная мануфактура». Наконец приходит и сам хозяин – с отрезом сукна под мышкой. Перехватил недоуменный взгляд гостя и говорит: «Это мне работницы фабрики подарили». Гость удивился. «Митя, – говорит, – да зачем же тебе этот отрез? Ты же член Политбюро нашей партии, у тебя

же есть все, чего не пожелаешь». «Да, – говорит Митя, – пока я член Политбюро, у меня есть все. А вот когда меня выгонят, тогда неизвестно, что будет. Может, еще придется этот отрез на рынок нести, чтобы прожить». И как в воду глядел, выгнали-таки. Но все-таки судьба его столь печальной не оказалась, сначала послом куда-то отправили, а уж потом на пенсию перевели, на персональную. Надеюсь, что на жизнь ему хватает и отрез на рынок нести пока не пришлось. Хотя и новых ему уже никто не дарит. Кому он нужен теперь, зачем?

Вот я вам скажу, смотришь здесь, на Западе, телевизор, читаешь прессу, и что видишь? То бывший американский президент Никсон мемуары пишет про свой Уотергейт, то мало ему этого, так еще по телевизору на пресс-конференции выступает, то бывший немецкий канцлер Хельмут Шмидт часовую речь по телевизору держит от своей социал-демократической партии, а другие ему, понимаете ли, еще овации устраивают. И всякие там конгрессы, митинги, дискуссии, да что же это такое?

А несправедливость, вот что. Из наших – один только Хрущев написание мемуаров решил, а потом сам же в газете отрекся и свое собственное сочинение враждебной фальшивкой называл. Или как-то еще, я точно не помню. А Другие молчат, доживают свои дни в забвении и даже напомнить о том, что живы, боятся. И мы не всегда и знаем, кто из них жив, а кто умер. Про Молотова недавно узнали, что жив и на девяносто четвертом году вернулся в родную партию. А где сейчас его боевые соратники? Где Маленков, Каганович, Шепилов, Шелепин, Шелест? В советской печати их имена не найдешь. В советских энциклопедиях упоминаются разные люди, не всегда даже советской власти приятные. Там есть и Гитлер, и Гиммлер, и Геринг, и Геббельс, но этих, наших, которых я перечислил, их нет нигде.

Хрущев в свое время пытался демократизировать партию и ввел в устав пункт о постоянной сменяемости высших партийных кадров. Это и стало одной из причин его собственного падения. Свергнув Хрущева, его преемники этот неприятный им пункт из устава немедленно вычеркнули. И сами себя обрекли на то, что сойти с политической сцены с почетом можно только умерев на посту.

Какие уж тут права человека?

Нет, действительно, не могу себе даже вообразить людей более бесправных, чем бывшие руководители советского государства.

Открытие

Один известный советский астроном рассказал мне такую историю. В конце 40-х – начале 50-х годов работал он в одном научно-исследовательском институте, вел какие-то наблюдения, смотрел в телескоп на сверхновые звезды и никак не мог понять, отчего они возникают. Может быть, я неправильно излагаю проблему, может быть, астрономы меня даже поднимут на смех. Но, во-первых, я надеюсь, что большинство моих читателей в астрономии понимают не больше меня, а во-вторых, суть не в проблеме, а в том, что этот ученый смотрел в телескоп на эти звезды и не мог в их поведении понять чего-то существенного.

Иногда его отрывал от телескопа коллега из соседней лаборатории. Он приходил к нашему астроному и рассказывал на ухо о неприятностях, которые происходят с представителями других наук, генетиками и кибернетиками. После того, как эти науки были объявлены буржуазными лженауками, генетиков и кибернетиков травили в печати и на собраниях, увольняли с работы, а особо злостных просто сажали.

Астроном выслушивал эти новости и, хотя они были ему весьма неприятны, думал: «Слава Богу, что я не генетик и не кибернетик, а занимаюсь астрономией, которую со времен Галилея никто не рисковал и уже вряд ли рискнет назвать лженаукой».

И он опять прилипал к телескопу и опять смотрел на звезды, записывал в тетрадь свои наблюдения, но чего-то главного все же понять не мог.

И опять приходил коллега из соседней лаборатории, и опять рассказывал о кампании против безродных космополитов, большинство которых оказалось евреями, а потом об аресте врачей-убийц, которые, как сообщалось, состояли в международной еврейской буржуазной организации «Джойнт» и по ее заданию собирались уничтожить некоторых советских вождей, включая самого Сталина.

Конечно, все эти новости, которые астроном узнавал не только от коллеги, но слышал по радио и вычитывал в газетах, были ему неприятны. Но все же он думал, что, может быть, происходящее его не касается, потому что он лично занимается только своей астрономией и ничем больше, он не еврей и ни в каких буржуазных организациях не состоит. Его самого пока что никто не трогал, он ходил на работу, получал приличную для молодого ученого зарплату, смотрел на звезды, думал о них, но чего-то главного додумать все же не мог.

Впрочем, и на Земле происходило что-то не очень понятное. Вдруг в марте 53-го года умер бессмертный Сталин, хотя врачи-убийцы были к тому времени уже обезврежены.

И как только это случилось, вдруг стали теплеть буквально и фигурально.

В одно прекрасное весеннее утро, как раз через месяц после смерти Сталина, собрался ученый идти на работу. Вышел из дому, идет, через лужи переступая, к трамваю, видит: на заборе газета «Правда» висит.

Смотрит он на эту газету и глазам своим не верит: что это – орган КПСС или еврейской буржуазной организации «Джойнт»? В газете написано, что обвинения против врачей были ложными, а показания арестованных получены путем применения зверских приемов следствия, строжайше советскими законами запрещенных.

Все это ученый прочел сначала в очках, а потом очки снял, лицо к газете приблизил и опять прочел.

И вдруг он почувствовал: словно камень с души свалился. И сразу осознал, что все происходившее с генетиками, кибернетиками, космополитами и врачами-убийцами имело к нему самое непосредственное отношение, хотя он не был ни генетиком, ни кибернетиком, ни евреем, ни космополитом, ни врачом-убийцей.

Тут как раз подошел трамвай, но давиться в нем ученому не захотелось, и он пошел на работу пешком. А была весна, текли лужи, светило солнце и затмевало все звезды, старые,

новые и сверхновые. Он стал думать об этих звездах, и вдруг его осенило или, как говорят в народе, вдруг что-то стукнуло в голову, и он сразу понял то, до чего столько лет не мог додуматься: что это за звезды, почему они возникают и почему так странно себя ведут. То есть совершил крупнейшее в своей науке открытие. Может быть, суть открытия я пересказываю неточно, потому что я в этом ничего не понимаю, но люди, которые понимают, оценили его высоко.

За это открытие наш астроном был принят в Академию наук СССР, и во многие иностранные академии и даже получил много денег, но дело не в них. Эта действительно происшедшая в жизни история произвела на меня большое впечатление. Я обсуждал ее со многими другими учеными, и все они со мной согласились, что общественный подъем самым непосредственным и благотворным образом сказывается на любой, даже очень, казалось бы, оторванной от реальной жизни науке.

Короткий период половинчатой хрущевской оттепели немедленно дал плоды во всех сферах интеллектуальной деятельности. В науке это красноречивее всего ознаменовалось запуском в космос первого спутника и первого человека (кстати, это случилось под руководством вышедшего из тюрьмы конструктора ракет Сергея Королева).

Тронувший затем новый идеологический зажим, преследование инакомыслящих (в среде которых оказалось много ученых) также не могли не сказаться на науке. И хотя в СССР и сейчас многие блестящие ученые, никогда не собираясь стать диссидентами, добросовестно служат государству – общий психологический климат и состояние уныния не могут не отражаться на их работе. К слову сказать, и ошеломляющие успехи в космосе кончились вместе с концом оттепели. И вот уже СССР запускает в космос корабли одной и той же конструкции и, заменяя реальный прогресс пропагандой, отправляет в полет то чеха, то индуса, то женщину.

ВСЕ ВСЕ ПОНИМАЮТ...

Ничего делать не надо

Последние годы моей жизни в Москве меня время от времени навещал приезжавший из провинции начинающий писатель. Он жаловался, что его не печатают, и давал мне на отзыв свои романы и рассказы, которые он писал в большом количестве. Он был уверен, что его сочинения не печатают из-за слишком критического содержания. Они и в самом деле содержали в себе критику советской системы, но у них был и еще один существенный недостаток – они были безнадежно бездарны. Приходя ко мне, этот человек иногда просил, а иногда просто требовал, чтобы я отправил его рукописи за границу и там их напечатал. Я отказывался. Тогда он решил пойти в КГБ и предъявить им ультиматум: или они отдадут приказ немедленно опубликовать его произведения, или он немедленно покинет Советский Союз.

Свой разговор в КГБ он пересказывал так.

Как только он вошел в здание КГБ, к нему подошел какой-то человек и сказал:

– Ах, здравствуйте, наконец-то вы к нам пришли!

– Разве вы меня знаете? – спросил писатель.

– Ну, кто ж вас не знает, – развел руками кагебешник. – Садитесь. С чем пришли? Хотите сказать, что вам не нравится советская власть?

– Да, не нравится, – сказал писатель.

– А чем именно она вам не нравится?

Писатель сообщил собеседнику, что, по его мнению, в Советском Союзе нет никаких свобод, в том числе и свободы творчества. Права человека подавляются, уровень жизни неуклонно падает. Высказал и другие критические соображения – всего примерно лет на семь заключения.

Выслушав его очень вежливо, кагебешник спросил:

– А зачем вы мне это рассказываете?

– Я хочу, чтобы вы это знали.

– А мы это знаем. Это все знают.

– Но если все это знают, надо же что-то делать!

– Вот в этом вы ошибаетесь, ничего делать не надо. Удивленный таким разговором, писатель замолчал и продолжал сидеть.

– Вы мне все сказали? – вежливо спросил кагебешник.

– Все.

– Так чего же вы сидите?

– Я жду, когда вы меня арестуете.

– А, понятно, – сказал кагебешник. – К сожалению, сегодня арестовать вас никак невозможно, у нас очень много дел. Но если это желание у вас не пройдет, приходите в другой раз и мы сделаем для вас все, что сможем.

И выпроводил писателя на улицу.

Писатель этот навещал меня еще раза два, а затем исчез. Я думаю, что в конце концов он своего добился и теперь его где-нибудь лечат от инакомыслия.

Воруй, да знай меру

Как-то ехал я на машине по шоссе. От заправки до заправки далеко, да и там не всегда найдешь то, что ищешь. К одной подъехал – бензина нет, до второй добрался – там огромная очередь, до третьей не доехал – бак опустел. Поднял руку, остановил самосвал, шофер – почему бы не заработать лишнюю пару рублей? – раскрутил длинный шланг от своего бака к моей канистре, засосал этилированный бензин, стоит, смотрит, как он, розовый, струится.

И тут как раз милиционер на мотоцикле, застал нас обоих на месте преступления. Я уже приготовился врать ему, что упросил шофера совершенно бесплатно налить мне только литр или два, доехать до ближайшей заправки, но милиционер даже слушать не стал, напустился на шофера.

– Что это ты делаешь? Создаешь мне аварийную обстановку. Мне казенного твоего бензина не жалко, воруй его сколько хочешь, но тут же поворот! Кто-нибудь выскочит – и авария.

Шофер выдернул из бака шланг, я оттащил канистру. Шофер поставил машину на обочину, милиционер, ругаясь, уехал. После этого мы уже спокойно довершили нашу торговую сделку. Обстановка не аварийная, а украсть у государства не грех, это даже и милиционеру понятно.

Приличный молодой человек

Не знаю, как сейчас, а в мое время, то есть в конце 70-х, люди изданные на Западе книги не только у себя дома, на семь замков запершись, читали, а где попало, в том числе и в общественном транспорте. Вот войдешь в метро, смотришь: один читает «Неделю», другой «Роман-газету», третий – просто газету. Но внимательно приглядишься и видишь, что если вагон набит, то в нем всегда есть два-три-четыре человека, которые читают что-то другое. Обложки обернуты в газету, бумага тонкая, шрифт мелкий, такой человек читает обычно сосредоточенно, но потом спохватится, прикроет книгу, оглянет близко стоящих внимательным взглядом и опять читает. Но некоторые до того дошли, что читают книги и не обернутые.

Мой приятель пришел ко мне и рассказывает.

– Вот ехал, – говорит, – сейчас в метро. Смотрю, сидит напротив меня молодой человек, книгу раскрыл, читает. Обложка красная, а на ней силуэт Ленина. Я посмотрел на него и даже расстроился. Надо же, думаю, такой симпатичный, молодой и интеллигентный на вид человек, а читает Ленина. А потом пригляделся и вижу: на обложке написано: "А. Солженицын «Ленин в Цюрихе». И сразу мне стало перед молодым человеком немного неловко, что я про него так плохо подумал.

Рассказал мне приятель эту историю, и мы оба с ним тут же вспомнили другие времена. Когда интеллигентные молодые люди читали не солженицынского Ленина, а первоисточник. Читали, конспектировали, заучивали, цитировали. Таких молодых людей у нас уже нет. А говорят, в Советском Союзе ничего не меняется.

Важны не законы, а правила поведения

Все или почти все советские люди знают, что в Советском Союзе важны не писанные законы, а неписанные правила поведения, соблюдая которые человек может чувствовать себя в достаточной безопасности. Эти минимальные правила я бы сформулировал так.

Надо ходить на работу, выполнять свое дело более или менее добросовестно, но не проявлять при этом излишней инициативы, не пытаться что-то улучшить, не слишком выделяться. Иногда нужно посещать собрания, политзанятия и митинги. Если там проводится голосование по тому или иному вопросу и председательствующий спрашивает, кто за, надо поднять руку и опустить. (Если собрание многолюдное, руку можно даже не поднимать, никто не заметит). Важно при этом никогда не голосовать против и не говорить, что вы воздерживаетесь, потому что оппозиция любому предлагаемому решению, даже если оно касается мелких проблем, вроде сбора макулатуры или озеленения двора, будет воспринята как проявление политической нелояльности. Примерно раз в год необходимо участвовать в выборах в верховные или местные органы власти. Для этого надо не обязательно очень рано, но и не очень поздно (часов до двенадцати дня) явиться на избирательный участок, взять бюллетень и, не заглядывая в него, не интересуясь, чья в нем написана фамилия, аккуратно сложить и опустить в урну, купить здесь же в буфете полкило сосисок (если есть) и уйти. Распоряжения начальства, какими бы нелепыми они ни казались, принимать к исполнению не споря, а от самого исполнения можно уклоняться. Желательно вообще не думать о политике, не слушать – иностранное радио и даже не читать советских газет, за исключением фельетонов и спортивных сообщений. Избегать каких бы то ни было контактов с иностранцами, включая граждан «братских» социалистических стран. Проявлять умеренный патриотизм и любовь к природе. Показать свою благонамеренность можно, будучи хоккейным или футбольным болельщиком, грибником, рыболовом. Даже герои многих чекистских детективов, выловив после упорных поисков банду иностранных шпионов, говорят обычно: «Ну, а теперь на рыбалку!» Простой пошел чекист, свойский. Тратит свое свободное время не на изучение трудов Карла Маркса или материалов очередного исторического партийного съезда, а на простое и доступное нашему уму и сердцу занятие. Благонамеренному гражданину можно вырезать что-нибудь из дерева или на рисовом зерне, но следует избегать увлечения такими сомнительными хобби, как филателия, нумизматика или радиолобительство (это влечет за собой интерес к контактам с иностранцами и непредсказуемые последствия). Желательно не проявлять излишнего интереса к отечественной истории и избегать дискуссий по поводу Октябрьской революции, коллективизации, культа личности Сталина и прочих вещей: убедив себя самого, что это все дела давно минувших дней, которые к вашей сегодняшней жизни никакого отношения не имеют.

Значительная часть населения Советского Союза соблюдает эти правила только внешне, а на самом деле ведет образ жизни полуподпольный. Такие люди ходят на работу, сидят на собраниях, голосуют за, но при этом тайком слушают радио, рассказывают антисоветские анекдоты и охотно читают, если попадается, что-нибудь запретное.

Но есть люди, которые, не бросая властям открытого вызова, тем не менее полностью отказываются от соблюдения всех принятых ритуалов и их если и не наказывают, то, может, лишь потому, что считают, что они не в своем уме.

В маске кролика (сценка, написанная с натуры)

Последние свои годы в Советском Союзе я жил довольно странной и для некоторых, прямо скажем, не очень понятной жизнью. Исключенный из Союза писателей, я был объявлен как бы вне закона. Люди, которые раньше общались со мной вполне охотно, теперь не только забыли номер моего телефона, но даже при случайной встрече на улице шарахались как от чумного. Не все, конечно. Далеко не все. У меня были друзья, которые не покидали меня даже в самые тревожные дни, хотя некоторым из них намекали, что, если они по-прежнему будут поддерживать со мной отношения, у них могут быть очень серьезные неприятности. Они эти угрозы игнорировали вовсе не из стремления к героизму, а просто потому, что были порядочными людьми.

Но мне приходилось встречать и таких, которые, как только я попал в немилость у советских властей, сразу перестали меня узнавать. Некоторые из них пережили сталинские времена, когда даже за шапочное знакомство с кем-нибудь можно было поплатиться головой. Они, кстати, может, и выжили только потому, что умели вовремя отвернуться от своего друга или знакомого, а иногда от папы и мамы. Понять и пожалеть таких людей можно, но уважать трудно.

Помню такую встречу. Пришел я как-то в писательскую поликлинику на улице Черняховского. Из Союза писателей меня уже исключили, из Литературного фонда тоже, но в поликлинике почему-то еще держали. И врачи даже настаивали, чтобы я прошел очередную диспансеризацию, проверил свое здоровье. Я долго уклонялся, но потом все же явился.

И вот сижу перед кабинетом врача. Идет мимо писатель Л. Увидев меня, замедляет шаг. Может быть, я плохой инженер человеческих душ, но мне кажется, что его обуревают сомнения: подойти поздороваться или, вдруг вспомнив, что где-то что-то забыл, кинуться со всех ног обратно. Но пока он раздумывает, ноги его механически передвигаются, и вот он уже совсем близко. Теперь делать вид, что он меня не заметил, глупо. Теперь на лице иные сомнения. Как поздороваться? В прежние времена он бы остановился и спросил, как дела, хотя дела мои в прежние времена были ему совершенно неинтересны. Теперь мои дела ему интересны, но навстречу идет критик З., а сзади на стульчике сидит драматург И. Проходя мимо, Л. кивает мне головой и даже делает рукой незаметный «нопассаран», как бы мужественно выражая мне свою солидарность. Но «нопассаран» свой он делает так, чтобы критик З. и драматург И. не сомневались – это всего лишь проявление обычной вежливости, которая может существовать между людьми разных взглядов. И ничего больше.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.